

ЖОРЖ САНД

КОНСУЭЛО

(LXI-CV)

Собрание сочинений

Жорж Санд
Консуэло (LXI-CV)

«Public Domain»

1843

ББК 84(4Фр)

Санд Ж.

Консуэло (LXI-CV) / Ж. Санд — «Public Domain»,
1843 — (Собрание сочинений)

ISBN 978-5-486-02436-8

Жорж Санд (1804–1876) – псевдоним французской писательницы Авроры Дюпен-Дюдеван, чье творчество вдохновлялось искренними идеями борьбы против социальной несправедливости, за свободу и счастье человека. В ее многочисленных романах и повестях идеи освобождения личности (женская эмансипация, сочувствие нравственно и социально униженным) сочетаются с психологическим воссозданием идеально-возвышенных характеров, любовных коллизий. Путеводной нитью в искусстве для Жорж Санд был принцип целесообразности, блага, к которому нужно идти с полным пониманием действительности, с сознанием своей правоты, с самоотречением и самозабвением. В данном томе публикуется окончание романа «Консуэлло», одного из самых известных произведений Ж. Санд.

ББК 84(4Фр)

ISBN 978-5-486-02436-8

© Санд Ж., 1843
© Public Domain, 1843

Содержание

LXI	5
LXII	13
LXIII	17
LXIV	20
LXV	25
LXVI	29
LXVII	33
LXVIII	38
LXIX	44
LXX	49
LXXI	55
LXXII	62
Конец ознакомительного фрагмента.	70
Комментарии	

Жорж Санд

Консуэло (LXI–CV)

LXI

Едва представился к тому случай, Консуэло вышла из гостиной и спустилась в сад. Солнце село, и бледные ранние звезды мирно сияли в небе, еще розовом на западе и уже темном на востоке.

Юной артистке хотелось вдохнуть чистого прохладного воздуха первых осенних вечеров. Страстное томление теснило ей грудь, пробуждая в то же время угрызения совести, и она призывала все силы души на помощь своей воле. Она могла бы задать себе вопрос: «Ужель не знаю я, люблю или ненавижу?» Консуэло трепетала, словно чувствуя, что мужество покидает ее в опаснейшую минуту ее жизни; и впервые она не находила в себе той правоты начального побуждения, той священной веры в чистоту своих намерений, которые всегда поддерживали ее в испытаниях. Она покинула гостиную, чтобы уйти от чар Андзолето, и в то же время смутно желала, чтобы он пошел за ней. Листья уже начинали осыпаться; когда, задеваемые краем ее платья, они шелестели позади нее, ей чудились чьи-то шаги. Готовая бежать, боясь оглянуться, она останавливалась, словно прикованная к месту волшебной силой.

За ней действительно кто-то шел, но не смея и не желая обнаружить свое присутствие. То был Альберт. Чуждый мелкого притворства, именуемого приличием, чувствуя себя в силу своей великой любви выше всякого ложного стыда, он через минуту вышел вслед за ней, решив без ее ведома охранять ее и не дать соблазнителю приблизиться к ней. Андзолето заметил эту наивную поспешность, но не очень встревожился: он слишком хорошо видел смущение Консуэло и считал свою победу обеспеченной; так велико было его раздутое легкими успехами самомнение, что он решил не ускорять событий, не раздражать больше свою возлюбленную, не приводить в ужас семью. «Теперь мне незачем спешить, – говорил он себе. – Гнев только придаст ей силы, тогда как мой скорбный, подавленный вид уничтожит остаток ее злобы против меня. У нее гордый ум – обратимся к ее чувствам. Она, без сомнения, стала менее сурова, чем была в Венеции, здесь нрав ее смягчился. Не беда, если сопернику выпадет лишний счастливый денек – завтра она будет моей, а быть может, еще и сегодня ночью! Увидим! Не будем ее запугивать, а то она еще примет какое-нибудь отчаянное решение. Она не выдала меня. Из жалости или из страха она предоставила старикам считать меня ее братом, и они, несмотря на все мои выходки, решили терпеть меня из любви к ней. Итак, переменим тактику. Я добился своего быстрее, чем надеялся; можно и передохнуть».

И граф Христиан, и канонисса, и капеллан были чрезвычайно удивлены, заметив, как внезапно изменились к лучшему манеры Андзолето, как скромн сделался его тон, как тихо и предупредительно стал он держать себя. Андзолето весьма ловко пожаловался шепотом капеллану на сильнейшую головную боль, прибавив, что вообще очень воздержан в отношении вина, а тут выпил за обедом венгерского, не имея понятия о его крепости, и оно ударило ему в голову. Минуту спустя признание это было сообщено по-немецки канониссе и графу, принявшему попытку молодого человека оправдаться с великодушной готовностью. Венцеслава сначала была менее снисходительна, но усилия комедианта понравиться ей, почтительное восхваление знати, восторженные отзывы о порядке, царившем в замке, – все это не замедлило обезоружить ее благожелательную, незлобивую натуру. Сначала она его слушала от нечего делать, но под конец приняла живое участие в разговоре и согласилась с братом, что Андзолето прекрасный, очаровательный молодой человек.

Консуэло вернулась с прогулки через час, и это время не пропало даром для Андзолето. Он успел расположить к себе всю семью и был уверен, что сможет остаться в замке столько дней, сколько ему понадобится для достижения его цели. Он не понял, что говорил по-немецки старый граф Консуэло, но догадался по взглядам, обращенным на него, и по удивленному и смущенному виду молодой девушки, что старый граф рассыпался в похвалах по его адресу и даже слегка пожурил ее за недостаток внимания к такому милому брату.

– Послушайте, синьора, – обратилась к ней канонисса, которая, несмотря на всю свою неприязнь к Порпорине, все-таки желала ей добра, да к тому же считала это долгом благочестия, – вы за обедом сердились на своего брата, и, надо сказать правду, тогда он этого заслуживал; но он лучше, чем показался нам вначале. Он нежно любит вас и только что много говорил о вас с глубоким чувством, даже с почтением. Не будьте же к нему более строги, чем мы. Если он выпил лишнее за обедом, то, я уверена, глубоко огорчен этим, особенно из-за вас. Поговорите же с ним, не будьте холодны с человеком, столь близким вам по крови. Что касается меня, то хотя мой брат, барон Фридрих, в юности и любил меня поддразнивать и даже часто очень сердил, я никогда не могла и часа быть с ним в ссоре.

Консуэло, не смея ни разубеждать добрую старушку, ни поддерживать ее заблуждение, была сражена этой новой искусной атакой Андзолето, значение которой было для нее очевидно.

– Вы не поняли, что сказала моя сестра? – спросил Христиан молодого человека. – Сейчас переведу вам все в двух словах: она упрекает Консуэло за то, что она слишком по-матерински строга с вами. А я уверен, что сама Консуэло жаждет примирения. Поцелуйтесь же, дети мои! Ну, милый юноша, сделайте первый шаг и, если вы в прошлом и были в чем-либо виноваты перед ней, попросите, чтобы она вас простила.

Андзолето не заставил повторить это дважды. Схватив дрожащую руку Консуэло, не решавшейся отнять ее, он проговорил:

– Да, я был страшно виноват перед нею и так горько раскаиваюсь, что все мои попытки забыться только еще больше разбивают мне сердце. Она прекрасно знает это, и, не будь у нее железной воли, не будь она так горда своей силой и беспощадна в своей добродетели, она поняла бы, что я и так уже достаточно наказан угрызениями совести. Прости меня, сестра, и верни мне свою любовь, не то я сейчас же уеду и буду скитаться по белу свету в отчаянии, одиночестве и тоске. Всюду чужой, без поддержки, без совета, без привязанности, я не смогу больше верить в Бога, и мои заблуждения падут на твою голову.

Эта покаянная речь чрезвычайно растрогала графа и вызвала слезы у доброй канониссы.

– Слышите, Порпорина! – воскликнула она. – То, что он говорит, прекрасно и справедливо. Господин капеллан, вы должны, во имя нашей религии, приказать синьоре примириться с братом.

Капеллан уже собирался было вмешаться, но Андзолето, не дождавшись его проповеди, схватил в объятия Консуэло и, несмотря на ее сопротивление и испуг, страстно поцеловал перед самым носом капеллана и в назидание всем присутствующим.

Консуэло, в ужасе от столь наглого обмана, не могла больше его поддерживать.

– Довольно! – проговорила она. – Господин граф, выслушайте меня...

Она хотела уже все рассказать, но тут вошел Альберт. И тотчас мысль о Зденко сковала страхом ее душу, готовую открыться. Неумолимый покровитель Консуэло был способен без шума и без лишних слов освободить ее от врага, если бы она указала на него.

Она побледнела, с горестным упреком взглянула на Андзолето, и слова замерли на ее устах.

Ровно в семь часов вечера все снова уселись за стол – ужинать. Если упоминание о столь частых трапезах способно лишить аппетита моих изящных читательниц, я принужден им сказать, что мода воздерживаться от пищи была не в чести в те времена и в той стране. Кажется, я уже упомянул о том, что в замке Исполинов ели медленно, плотно и часто – чуть ли не

половина дня проходила за обеденным столом; и, признаюсь, Консуэло, с детства вынужденная довольствоваться в течение дня несколькими ложками вареного риса, находила эти лукулловские трапезы смертельно длинными. Впрочем, на этот раз она не заметила, сколько времени длился ужин – час, мгновение или столетие. Она так же мало сознавала, что существует, как и Альберт, когда он бывал один в своем гроте. Ей казалось, что она пьяна, – до такой степени стыд за себя, любовь и ужас возмущали все ее существо. Она ничего не ела, ничего не слышала и не видела вокруг себя. В смятении, подобно человеку, летящему в пропасть и видящему, как одна за другой ломаются непрочные ветки, за которые он пытается удержаться, она глядела на дно бездны, и голова ее кружилась, в ушах шумело. Андзолето сидел подле нее, касался ее платья, внезапно прижимался локтем к ее локтю, ногой – к ее ноге. Стремясь ей услужить, он дотрагивался до ее рук и на миг удерживал их в своих, но этот миг, это жгучее пожатие заключали в себе целый мир наслаждений... Тайком он шептал ей слова, от которых захватывало дух, пожирал ее глазами... Пользуясь мгновением, мимолетным, как молния, он менялся с ней стаканом и прикасался губами к хрусталу, до которого только что дотрагивались ее губы. Ему удавалось быть пламенем для нее и казаться холодным, как мрамор, всем остальным. Он премило держал себя, учтиво разговаривал, был чрезвычайно внимателен к канониссе, преисполнен почтения к капеллану, предлагал ему лучшие куски мяса и сам нарезал их с грациозной ловкостью человека, привыкшего к хорошему столу. Он заметил, что благочестивый отец был лакомкой, но из скромности ограничивал свое чревоугодие. Капеллану пришлось весьма по вкусу предупредительность молодого человека, и он пожелал даже, чтобы этот новый кравчий до конца своих дней пробыл в замке Исполинов.

Все заметили, что Андзолето пил только воду, и когда капеллан, как бы в ответ на его любезность, предложил ему вина, ответил так громко, чтобы все могли слышать:

– Тысячу раз благодарю, но больше я уже не попадусь! Ваше прекрасное вино коварно: я недавно пытался найти в нем забвение, но теперь мои горести миновали и я возвращаюсь к воде, своему обычному напитку и верному другу.

Вечер затянулся несколько дольше обычного. Андзолето вновь пел, и на этот раз – для Консуэло. Он выбирал произведения ее любимых старинных композиторов, которым она сама обучила его, и исполнял их с той тщательностью, с тем безупречным вкусом и тонким пониманием, каких она всегда от него требовала. То было новое напоминание о самых дорогих, самых чистых минутах ее любви и увлечения искусством.

Когда стали расходиться, Андзолето, улучив подходящий момент, шепнул ей:

– Я знаю, где твоя комната: меня поместили в том же коридоре. В полночь я брошусь на колени у твоей двери и простою так до утра. Не откажи выслушать меня хотя бы одно мгновение. Я не порываюсь снова завоевать твою любовь – я ее не стою. Знаю, что ты больше не можешь любить меня, знаю, что другой очастливлен тобой и что мне надо уехать. Я уеду с омертвелой душой, и остатком дней моих будут владеть фурии. Но не прогоняй меня, не сказав сочувственного слова, не сказав «прости»! Если ты откажешь мне в этом, я с рассветом покину замок и тогда погибну навсегда.

– Не говорите так, Андзолето. Мы должны расстаться с вами сейчас, проститься навеки. Я вам прощаю и желаю...

– Доброго пути, – с иронией закончил он, но, тотчас возвращаясь к своему лицемерному тону, продолжал: – Ты безжалостна, Консуэло. Ты хочешь, чтобы я окончательно погиб, чтобы во мне не осталось ни единого доброго чувства, ни единого хорошего воспоминания. Чего ты боишься? Не доказывал ли я тебе тысячу раз свое уважение, чистоту своей любви? Когда любишь безумно, разве не становишься рабом? Неужели ты не знаешь, что одного твоего слова достаточно, чтобы укротить, поработить меня? Во имя неба, если только ты не любовница того человека, за которого выходишь замуж, если он не хозяин в твоей комнате и не разделяет с тобой все твои ночи...

– Он не любовник мой и никогда им не был, – прервала его Консуэло тоном оскорбленной невинности.

Ей следовало бы сдержать этот гордый порыв, естественный, но сейчас слишком открытый. Андзолето не был трусом, но он любил жизнь, и если бы знал, что найдет в комнате Консуэло отважного стража, то преспокойно остался бы у себя. Искренность, прозвучавшая в ответе молодой девушки, окончательно придала ему смелости.

– В таком случае я не погублю твоего будущего, – сказал он, – я буду так осторожен, так ловок, войду так бесшумно и буду говорить так тихо, что не запятнаю твоей репутации. Да к тому же не брат ли я тебе? Что удивительного в том, что, уезжая на рассвете, я пришел с тобой проститься.

– Нет, нет, не приходите! – в ужасе проговорила Консуэло. – Покои графа Альберта находятся рядом, быть может, он уже обо всем догадался. Андзолето, если вы придете... я не ручаюсь за вашу жизнь. Говорю вам серьезно, у меня кровь стынет в жилах от страха!..

И в самом деле, Андзолето, державший ее руку в своей, почувствовал, как она стала холоднее мрамора.

– Если ты заставишь меня стоять у твоей двери и препираться с тобой, то в самом деле подвергнешь меня опасности, – с улыбкой прервал он ее, – но если дверь твоя будет открыта, а наши поцелуи немые, нам нечего бояться. Вспомни, как сидели мы целыми ночами у тебя на Кортэ-Минелли, не потревожив никого из твоих многочисленных соседей. Что до меня, то если нет иного препятствия, кроме ревности графа, и иной опасности, кроме смерти...

В эту минуту Консуэло увидела, как взор графа Альберта, обычно затуманенный, оставившись на Андзолето, вдруг стал ясным и глубоким. Слов их он слышать не мог, но казалось – он слышит глазами. Консуэло высвободила свою руку из руки Андзолето и сдавленным голосом проговорила:

– Ах! Если ты любишь меня, не раздражай этого страшного человека!

– Ты за себя боишься? – быстро спросил Андзолето.

– Нет, но за всех тех, кто соприкасается со мной и угрожает мне.

– И за тех, кто тебя обожает, конечно? Ну что ж, пусть так! Умереть на твоих глазах, умереть у твоих ног! О, я только этого и хочу! Я приду к тебе в полночь; попробуй не впустить меня, ты только ускоришь мою гибель.

– Как! Вы уезжаете завтра и ни с кем не прощаетесь? – спросила Консуэло, увидав, что он, раскланявшись с графом и канониссой, ничего не сказал им о своем отъезде.

– Нет, – ответил он, – меня стали бы удерживать, а я, видя, что все кругом словно сговорились продлить мои мучения, мог бы уступить против воли. Ты передашь всем мои извинения и прощальный привет. Я приказал проводнику держать лошадей наготове к четверем часам утра.

Последнее было чистой правдой. Странные взгляды, которые Альберт бросал на него вот уже несколько часов, не ускользнули от Андзолето. Он решил идти на все, но был готов и к бегству. На всякий случай его лошади стояли оседланными на конюшне, и проводник получил приказ не ложиться.

Когда Консуэло вернулась к себе в комнату, ее охватил настоящий ужас. Она не хотела видеть у себя Андзолето и в то же время боялась, как бы что-нибудь не помешало ему прийти. Двойственное, обманчивое непреодолимое чувство не переставало терзать ее и заставляло ее сердце биться в разлад с совестью. Никогда еще не казалась она себе такой несчастной, покинутой, такой одинокой.

«О! Мой учитель Порпора, где вы? – воскликнула она в душе. – Вы один могли бы спасти меня, вам одному известен мой недуг и грозящие мне опасности. Только вы, резкий, строгий, недоверчивый, каким должен быть отец и друг, могли бы удержать меня от падения в бездну, куда я лечу. Но разве вокруг меня нет друзей? Разве граф Христиан не готов стать мне отцом?»

Разве не стала бы матерью для меня канонисса, имей я мужество, не боясь ее предрассудков, раскрыть ей свое сердце? А Альберт, разве он не опора моя, не брат, не муж, согласись я только произнести одно слово? Да! Он может быть моим спасителем, а я боюсь его, отталкиваю!.. Надо пойти к ним, ко всем троим, – прибавила она, вставая и начиная в волнении ходить по комнате, – я должна соединить свою судьбу с ними, искать у них защиты, укрыться под крыльями этих ангелов-хранителей. С ними обитают покой, достоинство, честь; унижение и отчаяние ждут меня подле Андзолето. О да! Надо идти к ним, покаяться в том, что произошло в этот ужасный день, рассказать, что творится со мной, чтобы они могли удержать, защитить меня от меня самой. Надо связать себя с ними клятвой, надо произнести это страшное «да», которое поставит неодолимую преграду между мной и моим мучителем. Сейчас иду. Иду к ним!..»

Но, вместо того чтобы идти, она без сил упала на стул и в отчаянии стала рыдать над своим утраченным покоем, над своей сокрушенной силой.

«Но как, – говорила она себе, – как идти к ним с новой ложью, как предлагать им себя, когда в сердце своем я заблудшая дева, неверная жена, и на устах моих, которые произнесли бы обет неизменной верности честнейшему из людей, горит еще поцелуй другого, а сердце мое трепещет нечистой радостью при одном воспоминании о нем! Ах! Самая любовь моя к презренному Андзолето изменилась, как и он сам. Это уже не спокойная, святая привязанность тех дней, когда я, счастливая, спала, осененная крылами матери, распростертыми надо мной в вышине небес. Это страсть – столь же бурная и низкая, как и тот человек, который возбудил ее. В душе моей не осталось уже ничего великого, ничего правдивого. С сегодняшнего утра я лгу самой себе, так же как лгу другим. Ужели же я буду лгать им теперь постоянно, в каждый час своей жизни? Здесь или вдалеке – Андзолето всегда будет предо мной. Одна мысль о завтрашней разлуке с ним мучительна для меня, и на груди у другого я буду грезить только о нем. Что же делать, как быть?»

А время шло – и страшно быстро и страшно медленно.

«Мы встретимся, – говорила она себе, – я скажу ему, что ненавижу, презираю его, что не хочу больше его видеть. Но нет, я опять лгу: я не скажу ему этого, а если у меня и хватит на это духа, я сейчас же откажусь от своих слов. Я даже не знаю, сохраню ли свое целомудрие, – Андзолето уже не верит в него и не станет щадить меня. Да я и сама больше не верю в себя, не верю ни во что, я могу уступить ему скорее из страха, чем от слабости. О! Лучше умереть, чем пасть так низко, позволить хитрости и распутству восторжествовать над заветными устремлениями и благородными помыслами, вложенными в меня Богом!»

Она подошла к окну и в самом деле подумала, не броситься ли ей вниз, чтобы смерть избавила ее от бесчестья, которым она уже считала себя запятнанной. Борясь с этим мрачным искушением, она перебирала в уме те пути к спасению, которые еще оставались. В сущности, в них недостатка не было, но ей казалось, что все они влекут за собой другие опасности. Прежде всего она заперла на задвижку дверь, в которую мог войти Андзолето. Но она лишь наполовину знала этого холодного эгоиста и, много раз наблюдая его физическую храбрость, не подозревала, что он совершенно лишен того духовного мужества, когда человек ради удовлетворения своей страсти готов идти на смерть. Она думала, что он дерзнет прийти к ней, будет добиваться объяснения, поднимет шум, а между тем было достаточно малейшего шороха, чтобы привлечь внимание Альберта. В стене смежной комнаты, как почти во всех помещениях замка, была потайная лестница, которая вела в нижний этаж, прямо к покоям канониссы. Это было единственное убежище, где Консуэло могла бы укрыться от безрассудной дерзости Андзолето. Но, чтобы канонисса впустила ее, ей пришлось бы покаяться и даже сделать это заранее, дабы не подать повода к переполоху, который от испуга легко могла бы поднять добрейшая Венцеслава. Оставался еще сад, но Андзолето – а он, видимо, уже хорошо изучил весь замок – мог тоже явиться туда, и это означало бы идти прямо навстречу гибели.

Обдумывая все это, Консуэло увидела из своего окна, выходявшего на задний двор, свет у конюшен; разглядела она там и человека: он, не будя других слуг, то входил, то выходил из дверей и, по-видимому, готовился к отъезду. По одежде она узнала в нем проводника Андзолето, седлавшего по его приказанию коней. Увидела она также свет у сторожа подъемного моста и не без основания подумала, что тот был предупрежден проводником об отъезде, точное время которого еще не было назначено. Пока Консуэло наблюдала за всем происходившим у конюшни, перебирая в уме тысячи предположений и проектов, ей пришел в голову довольно странный и очень смелый план. Но поскольку он являлся своего рода выходом между двумя крайними, устрашающими ее решениями и в то же время открывал перед ней новые пути в жизни, он показался ей настоящим откровением свыше. Ей некогда было обдумывать ни способы его осуществления, ни его последствия. Способы, казалось, посылало ей само Провидение, а последствий она надеялась избежать. И Консуэло принялась за нижеследующее письмо, страшно спеша, что легко можно себе представить, ибо на часах замка уже пробило одиннадцать:

«Альберт! Я вынуждена уехать. Я предана вам всей душой – вы это знаете. Но во мне живут противоречивые, мучительные, мятежные чувства, которые я не в состоянии объяснить ни вам, ни себе самой. Будь вы со мной в эту минуту, я сказала бы, что вручаю себя вам, вверяю вам свою судьбу, согласна быть вашей женой, быть может, даже сказала бы вам, что хочу этого. Однако я обманула бы вас или дала бы безрассудный обет, так как сердце мое недостаточно еще очистилось от прежней любви, чтобы принадлежать сейчас вам без страха и принять вашу любовь без угрызений совести. Поэтому я бегу. Я отправляюсь в Вену, чтобы встретиться с Порпорой или дожждаться его, – судя по письму, которое он прислал вашему батюшке, он уже должен находиться там или приедет туда через несколько дней. Клянусь, я еду к нему, чтобы забыть ненавистное прошлое и жить надеждой на будущее, в котором вы для меня незыблемая опора. Не следуйте за мной, я запрещаю вам это во имя нашего будущего; ваше нетерпение сможет лишь испортить его, а может быть, и разрушить. Ждите меня и будьте верны клятве, которую вы мне дали – не ходить без меня в... Вы понимаете, о чем я говорю! Положитесь на меня, я приказываю вам это, так как ухожу со священной надеждой скоро вернуться или призвать вас к себе. Сейчас я словно вижу страшный сон, и мне кажется, что, оставшись наедине с собой, я проснусь достойной вас. Я не хочу, чтобы брат следовал за мной. Я обману его, направив по ложному пути. Во имя всего самого для вас дорогого, не мешайте ни в чем моему замыслу и верьте в мою искренность. Тогда я увижу, что вы истинно любите меня и что я могу, не краснея, принести в дар вашему богатству свою бедность, вашему титулу – свое скромное происхождение, вашей учености – свое невежество. Прощайте!.. Нет, до свидания, Альберт! Чтобы доказать вам, что я уезжаю не навсегда, поручаю вам склонить вашу уважаемую и дорогую тетюшку с благосклонностью отнестись к нашему союзу и сохранить доброе отношение ко мне вашего отца, лучшего и достойнейшего из людей. Откровенно расскажите ему обо всем. Я напишу вам из Вены».

Надежда, что подобным письмом можно убедить и успокоить человека, столь одержимого страстью, как Альберт, была, несомненно, очень смела, но не безрассудна. По мере того как она писала, Консуэло чувствовала, как к ней возвращается и сила воли, и свойственное ей прямотушие. Она писала то, что думала. Она готова была выполнить все, что обещала. Она верила в глубокую проницательность, почти ясновидение Альберта, знала, что не сумела бы обмануть его, была убеждена, что он ей поверит и, в силу своего характера, беспрекословно послушается ее. В этот миг она судила о жизни и о графе Альберте столь же возвышенно, как и он сам.

Сложив письмо, но не запечатав его, она накинула дорожный плащ, покрыла голову густой черной вуалью, надела грубые башмаки, захватила имевшуюся у нее небольшую сумму денег, немного белья и, спустившись на цыпочках, с невероятными предосторожностями, по

лестнице, прошла по комнатам нижнего этажа до покоев графа Христиана и проскользнула в его молельню, куда, как ей было известно, он неизменно входил ровно в шесть утра. Она положила письмо на подушку, на которую граф, прежде чем опуститься на колени, обычно клал свой молитвенник, затем, сойдя во двор и никого не разбудив, направилась прямо к конюшням.

Проводник, чувствующий себя не особенно спокойно глухой ночью в большом замке, где все спало мертвым сном, в первую минуту перепугался, увидев черную женщину, приближавшуюся к нему, словно привидение. Он отступил в глубь конюшни, не смея ни крикнуть, ни задать ей вопроса. Этого-то и надо было Консуэло. Как только она убедилась, что ее никто не может ни увидеть, ни услышать (ей было известно, что окна Альберта и Андзолето не выходят на этот двор), она сказала проводнику:

– Я сестра молодого человека, которого ты привез сюда нынче утром. Он похищает меня. Это только что решено между нами. Скорей замени седло на его лошади дамским – их здесь несколько – и следуй за мной до Тусты, не проронив ни слова, не сделав ни шага, который мог бы выдать прислуге замка мое бегство. Тебе будет заплачено вдвойне. Ты удивлен? Ну, живо! Как только мы доберемся до города, ты тотчас же, на этих же лошадях вернешься сюда за братом.

Проводник покачал головой.

– Тебе будет заплачено втрое.

Проводник кивком головы показал, что согласен.

– И ты во весь дух привезешь его в Тусту, где я буду ждать вас.

Проводник опять покачал головой.

– Ты получишь за вторую поездку вчетверо больше, чем за первую.

Проводник повиновался. В один миг он переседлал лошадь, на которой должна была ехать Консуэло.

– Это еще не все, – проговорила Консуэло, вскочив на лошадь, когда та еще не была окончательно взнуздана, – дай мне твою шляпу и накинь свой плащ поверх моего. На один миг.

– Понятно, – сказал проводник, – надо обмануть сторожа. – Ну, это не трудное дело! Я не впервые похищаю знатных девиц! Надеюсь, ваш возлюбленный хорошо заплатит, хоть вы и сестра ему, – усмехаясь, добавил он.

– Прежде всего я сама хорошо заплачу тебе. Ну, помалкивай! Ты готов?

– Я в седле.

– Поезжай вперед и вели опустить мост.

Они проехали по мосту шагом, сделали крюк, чтобы не скакать вдоль стен замка, и через четверть часа были уже на большой, усыпанной гравием дороге. Консуэло до того ни разу в жизни не ездила верхом. К счастью, ее лошадь, хотя и сильная, была смиренного нрава. Проводник подбадривал ее, прищелкивая языком, и она, несясь ровным непрерывным галопом по лесам и вересковым пустошам, через два часа доставила амазонку к месту ее назначения.

При въезде в город Консуэло остановила лошадь и спрыгнула на землю.

– Я не хочу, чтобы меня здесь видели, – сказала она проводнику, давая ему условленную плату за себя и за Андзолето. – По городу я пойду пешком, достану здесь у знакомых людей экипаж и поеду по Пражской дороге. Я поеду быстро, чтобы до рассвета как можно дальше отъехать от мест, где меня знают в лицо. На рассвете я сделаю остановку и буду ждать брата.

– А в каком месте?

– Не знаю еще. Скажи ему, что на одной из почтовых станций. Пусть только никого не спрашивает, пока не отъедет на десять миль отсюда. Тогда пусть справляется о госпоже Вольф – это первое имя, которое пришло мне в голову. Смотри не забудь его. Скажи, в Прагу ведет только одна дорога?

– Одна до...

– Ну ладно! Остановись в предместье и дай передохнуть лошадям. Постарайся, чтобы не заметили дамского седла, набрось на него свой плащ. Не отвечай ни на какие вопросы и пускайся в обратный путь. Постой, еще одно слово: передай брату, пусть он не колеблется, не задерживается и уезжает так, чтобы его никто не видел. В замке ему грозит смерть.

– Господь с вами, красотка, – ответил проводник, успевший уже ощупать полученные монеты. – Да околеет даже от этого мои бедные лошадки, я и то рад услужить вам.

«Досадно, однако, – подумал он, когда девушка исчезла в темноте, – мне не удалось увидеть и кончика ее носа. Хотелось бы знать, так ли она красива, чтобы стоило ее похищать. Сперва она напугала меня своим черным покрывалом и решительной походкой, – ну, да чего только не наговорили мне там, в людской, я уж не знал, что и думать. До чего суеверны и темны эти люди со своими привидениями да с черным человеком у дуба Шрекенштейна! Эх! Больше сотни раз бывал я там и никогда его не видал. Правда, проезжая у подножия горы, я всегда старался опустить голову и смотреть вниз, в лощину».

Занятый столь бесхитростными рассуждениями, проводник задал овса лошадям, а сам, чтобы разогнать сон, хорошенько подкрепился в соседнем трактире пинтой медовой шипучки и отправился обратно в замок Исполинов, отнюдь не спеша, как надеялась и предвидела Консуэло, наказывая ему торопиться. Все больше удаляясь от нее, добрый малый терялся в догадках относительно романтического приключения, в котором был посредником. Мало-помалу, благодаря ночному мраку, а пожалуй, и парам крепкого напитка, приключение это стало рисоваться ему в еще более необычном виде. «А забавно, – думалось ему, – если б эта черная женщина оказалась мужчиной, а мужчина – привидением замка, мрачным призраком Шрекенштейна! Говорят же, что он злобно подшучивает над ночными путниками, а старый Ганс даже клялся мне, будто видел его раз десять в конюшне, когда задавал перед рассветом корм лошадям старого барона Фридриха. Черт побери! Не очень-то оно приятно! Встретиться и побыть с такими тварями всегда к беде! Если мой бедный Серко возил на себе этой ночью сатану, он, наверно, подойдет. Сдается мне, что из его ноздрей уже пышет пламя. Как бы он еще не закусил удила! Эх! Скорей бы добраться до замка да взглянуть, уж не сухие ли листья в моем кармане вместо денег этой чертовки. А вдруг мне скажут, что синьора Порпорина, вместо того чтобы мчаться по дороге в Прагу, преспокойно почивает в своей кровати? Кто тогда останется в дураках – черт или я? Что верно, то верно, она и вправду неслась как ветер, а когда мы с ней расстались, исчезла так быстро, словно провалилась сквозь землю».

LXII

Андзолето не преминул встать в полночь, взять свой стилет, надушиться и загасить свечу. Но в ту минуту, когда он собирался тихонько отпереть дверь (а он уже раньше заметил, что замок в ней открывается мягко и бесшумно), его крайне удивило, что ключ не поворачивается. Возясь с ним, он изломал себе все пальцы и вконец измучился, да к тому же боялся, слишком сильно толкая дверь, кого-нибудь разбудить. Но все оказалось напрасно. Другой двери из его комнаты не имелось. Окно выходило в сад на высоте пятидесяти футов от земли; стена была совершенно гладкая и неприступная, и при одной мысли о спуске по ней кружилась голова.

«Это не случайность, – сказал себе Андзолето, еще раз тщетно попытавшись открыть дверь. – Будь то Консуэло (а это хороший признак: ее страх говорил бы об ее слабости), будь то граф Альберт, все равно – они оба у меня поплотятся!»

Он решил было снова уснуть, но ему мешала досада, а быть может, какое-то беспокойство, близкое к страху. Если такую предосторожность предпринял Альберт, значит, он один во всем доме не заблуждался относительно «братских» отношений между Андзолето и Консуэло. А у той был уж очень испуганный вид, когда она предупреждала его остерегаться «этого страшного человека». Как ни убеждал себя Андзолето, что молодой граф, будучи не в своем уме, вряд ли может быть последовательным в своих действиях, и, кроме того, принадлежа к знаменитому роду и подчиняясь предрассудкам своего времени, он не пожелает драться на дуэли с комедиантом, все же эти доводы были малоуспокоительны. Альберт произвел на него впечатление человека хоть и помешанного, но тихого и вполне владеющего собой; что же касается предрассудков, то, по-видимому, они были не очень-то сильны в нем, раз он собирался жениться на актрисе. Поэтому Андзолето стал не на шутку опасаться, что, добиваясь своей цели, нарвется, пожалуй, на столкновение с молодым графом и наживет себе совершенно попусту массу неприятностей. Такая развязка не столько пугала его, сколько казалась постыдной. Он научился владеть шпагой и льстил себя надеждой, что не отступит перед противником, как бы искусен тот ни был. Тем не менее успокоиться он не мог и так и не сомкнул глаз всю ночь.

Около пяти часов утра ему послышались шаги в коридоре, и вскоре дверь легко и бесшумно открылась. Еще не вполне рассвело, а потому, увидав человека, столь бесцеремонно входящего в его комнату, Андзолето подумал, что настала решительная минута. Он бросился к своему стилету и, словно бык, ринулся вперед. Но тотчас же в предрассветной мгле он узнал своего проводника, который делал ему знаки говорить потише и не шуметь.

– Что означают твои ужимки и что тебе надо, дурень? – раздраженно спросил Андзолето. – Как ты умудрился пробраться сюда?

– Да как же иначе, если не через дверь, мой добрый синьор.

– Дверь была заперта на ключ.

– Но ключ-то вы оставили снаружи.

– Не может быть! Вот он здесь, на столе.

– Подумаешь, что за диво, – там, значит, другой.

– Кто же так подшутил надо мной, заперев меня? Вчера вечером был только один ключ; уж не ты ли проделал это, когда приходил за моим чемоданом?

– Клянусь богом, не я, и другого ключа я не видел.

– Ну, стало быть, это черт! Но что у тебя за озабоченный и таинственный вид и зачем ты сюда явился? Я не посылал за тобой.

– Вы не даете мне слова вымолвить. Впрочем, вы меня видите и, уж наверно, сами понимаете, что мне надо. Синьора благополучно доехала до Тусты, и вот я, по ее приказанию, вернулся с лошадьми за вами.

Понадобилось несколько мгновений, прежде чем Андзолето сообразил, в чем дело; однако он понял все достаточно быстро, чтобы проводник, чьи суеверные страхи улетучились вместе с ночными тенями, не заподозрил снова проделок дьявола. Плут первым делом разглядел деньги, данные ему Консуэло, проверил, как они звенят на мощеном полу конюшни, и остался доволен своей сделкой с адом. Андзолето понял все с полуслова и подумал, что беглянка, находясь, как и он, под бдительным надзором, не смогла предупредить его о своем решении. Быть может, доведенная до крайности угрозами своего ревнивца, она воспользовалась удобной минутой, чтобы расстроить все его замыслы, сбежать и вырваться на свободу.

«Как бы там ни было, – сказал он себе, – нечего сомневаться и раздумывать. Указания, которые она прислала с человеком, доставившим ее до Пражской дороги, ясны и точны. Победа! Только бы мне выбраться вслед за ней отсюда, не скрестив ни с кем шпаги!»

Он вооружился до зубов и, поспешно собираясь, послал проводника разведать, свободен ли путь. Когда тот сообщил, что, по-видимому, в доме все еще спят, кроме сторожа у подъемного моста, только что впустившего его, Андзолето бесшумно сошел вниз, вскочил на коня и, встретив во дворе только одного конюха, подозвал его и дал ему на чай, чтобы отъезд его не показался бегством.

– Клянусь святым Венцеславом^[1], – сказал тот проводнику, – вот странное дело! Лошади вышли из конюшни все в мыле, словно скакали ночь напролет.

– Видно, ваш черный дьявол приходил чистить их, – ответил проводник.

– Вот оно что! – подхватил конюх. – То-то я слышал всю ночь ужасный шум в той стороне, да боялся выйти посмотреть; но вот, как я вас перед собой вижу, так я слышал, как скрипела решетка и опускался подъемный мост. Я даже решил, что это вы уезжаете, и уже не думал вас встретить нынче утром.

Сторож у подъемного моста сделал другого рода замечание.

– Ваша милость, стало быть, изволит двоиться? – спросил он, протирая глаза. – Я видел, как вы уехали в полночь, а вы опять здесь.

– Это приснилось тебе, любезный, – сказал Андзолето, также давая ему на чай, – да я и не уехал бы, не попросив тебя выпить за мое здоровье.

– Ваша милость делает мне слишком много чести, – ответил сторож на ломаном итальянском языке. – Как бы там ни было, – прибавил он по-чешски проводнику, – а я видел в эту ночь двойников.

– Смотри, как бы будущей ночью не увидать четверых, – ответил тот, поскакав вслед за Андзолето по мосту. – Черный дьявол любит выкидывать штучки с такими сонями, как ты.

Итак, Андзолето, руководясь советами и указаниями своего спутника, добрался до Тусты, или Тауса, ибо, кажется, это один и тот же город.

Отпустив проводника и взяв почтовых лошадей, он поехал дальше, воздерживаясь от каких бы то ни было расспросов на протяжении первых десяти миль, а проехав их, остановился позавтракать, ибо умирал от голода, и справился относительно госпожи Вольф, которая должна была ждать его здесь с каретой. Понятно, никто не мог дать о ней никаких сведений.

Правда, в городке имелась одна госпожа Вольф, но она жила здесь уже пятьдесят лет и держала галантерейную лавку. Андзолето, разбитый, измученный, решил, что Консуэло, очевидно, не нашла возможности остановиться на этом месте. Он хотел было взять наемную карету, но таковой не оказалось. И волей-неволей пришлось ему вновь взобраться на лошадь и мчаться во весь опор дальше. Он нисколько не сомневался, что вот-вот встретит заветную карету, куда бросится и тотчас будет вознагражден за все трудности и треволения. Но путешественников встречалось очень мало, и ни в одной карете не видно было Консуэло. Наконец в полном изнеможении, не находя нигде наемной кареты, до смерти раздосадованный Андзолето решил остановиться в небольшом селении у дороги и подождать Консуэло – ему уже казалось, что он опередил ее. Весь остаток дня и всю последующую ночь у него было достаточно вре-

мени, чтобы проклинать женщин, постоянные дворы, ревнивцев и дороги. На следующий день ему удалось достать место в проезжавшем дилижансе, и он продолжал путь в Прагу, но не с большим успехом. Предоставим же ему с бешенством и нетерпением, смешанным с надеждой, продвигаться на север, а сами вернемся на минуту в замок и посмотрим, какое впечатление произвел отъезд Консуэло на его обитателей.

Можно легко представить, что графу Альберту спалось не больше, чем двум другим участникам этого внезапного приключения. Заручившись вторым ключом от комнаты Андзолето, он запер дверь снаружи и перестал беспокоиться о поползновениях своего противника, прекрасно зная, что никто не пойдет его освобождать, если не вмешается сама Консуэло. Альберт содрогался при одной мысли о такой возможности, но со свойственной ему утонченной деликатностью не хотел никаких неосторожных разоблачений.

«Если Консуэло до такой степени любит его, – думал граф, – мне нечего бороться, да свершится судьба моя! А узнаю я об этом незамедлительно, ибо Консуэло правдива и завтра же открыто откажется от предложения, сделанного мною сегодня. Если же этот опасный человек только преследует ее и угрожает ей, то она хоть на сегодняшнюю ночь будет ограждена от его домогательств. Какой бы ни послышался мне теперь таинственный шорох, я не шевельнусь – не сделаю гнусности, не подвергну бедняжку мукам стыда, явившись к ней без зова. Нет! Я не буду играть роль низкого шпиона, подозрительного ревнивца, ибо до сих пор ее отказ и колебания не дали мне никаких прав на нее. Одно только успокаивает мою честь, хотя и страшит мою любовь – это сознание, что я не буду обманут. О, душа моей любимой! Ты одновременно пребываешь в груди совершеннейшей из женщин и в лоне вечного Бога. Если сквозь тайны и тени человеческой мысли тебе дано в эту минуту читать в моем сердце, внутреннее чувство должно подсказать тебе, что я люблю слишком сильно, чтобы не верить твоему слову!»

Мужественный Альберт свято выполнил принятое им на себя обязательство, и хотя во время бегства Консуэло ему и показалось, будто в нижнем этаже он слышит ее шаги, а затем какой-то менее понятный стук со стороны подъемной решетки, он все стерпел, молился и благоговейно сложенными руками сдерживал трепетавшее в груди сердце.

Когда стало светать, он услышал шаги и стук открывшейся двери в комнате Андзолето.

«Негодяй, – подумал он, – покидает ее самым бесстыдным образом и без всяких предосторожностей! Он точно хочет выставить напоказ свою победу. Ах, я почитал бы ничтожным зло, которое он причиняет мне, если б своей любовью он не осквернял другой души, более драгоценной и дорогой для меня, чем моя собственная».

В тот час, когда граф Христиан обычно вставал, Альберт отправился к нему – не для того, чтобы предупредить его о происходящем, а чтобы просить еще раз поговорить с Консуэло. Он был уверен, что она не солжет. Ему казалось, что она сама должна желать этого объяснения, и он готов был облегчить ее горе, даже утешить ее и притвориться покорным судьбе, чтобы смягчить горечь их расставания. Альберт не спрашивал себя, что будет потом с ним самим. Он чувствовал, что либо рассудок его, либо жизнь не вынесут такого удара, но не страшился мук, превышающих его силы.

Он встретил отца в ту минуту, когда старик входил в молельню. Письмо, положенное на подушку, одновременно бросилось в глаза обоим. Вместе они схватили его, вместе прочли. Старый граф был сражен, он испугался, что сын не перенесет удара, но Альберт, готовый к большому несчастью, был спокоен, исполнен покорности и неколебимого доверия.

– Она чиста, – проговорил он, – и хочет любить меня. Она чувствует, что любовь моя к ней истинна и доверие нерушимо. Господь оградит ее от опасности! Будем уповать на это, отец мой, и будем спокойны. Не бойтесь за меня, я сумею пересилить свое горе и побороть сомнения, если они овладеют мной.

– Сын мой, – сказал растроганный старик, – мы стоим с тобой перед образом Бога; это Бог твоих предков. Ты перешел в другую веру, и, как ни страдал я в сердце своем, ты знаешь, что

я ни разу не упрекнул тебя. Я паду ниц перед тем самым распятием, перед которым прошлой ночью дал тебе клятву сделать все от меня зависящее, чтобы любовь твоя была услышана и освящена достойным уважения союзом. Я сдержал свое обещание и теперь возобновляю его. Я снова буду молить всевышнего, чтобы он исполнил твои желания, и чувства мои будут в согласии с моей мольбой. Не присоединишься ли и ты к моей молитве в этот торжественный час, когда, быть может, решается на небесах судьба твоей земной любви? О! Мой благородный сын, в коем предвечный сохранил все добродетели, вопреки испытаниям, ниспосланным твоей прежней вере! Я видел, как ты ребенком, преклонив рядом со мной колени на могиле твоей матери, словно юный ангел, еще чуждый сомнениям, молился верховному владыке! Неужели ты и сегодня не вознесешь к нему своего голоса, дабы мой не звучал напрасно?

– Отец, – ответил Альберт, обнимая старца, – пусть обряды и догматы нашей веры различны, но души наши всегда сходятся на одном и том же вечном божественном начале. Вы служите Богу премудрому, милосердному, идеалу совершенства, познания и добра, – ему я никогда не переставал поклоняться. О Иисусе Христе, распятый за нас! – произнес он, становясь на колени рядом с отцом перед изображением Спасителя. Ты, коему люди поклоняются как Богу и перед коим я благоговею, как перед самым благородным и чистым проявлением всеобъемлющей любви среди нас! Услышь мою молитву, Ты, чья мысль вечно живет в Боге и в нас! Благослови праведные влечения и честные намерения! Пожалей порок, который торжествует, и поддержи невинность, которая борется. Предаю счастье свое в руки господни. О, милосердный Боже! Пусть направит и вдохновит Твоя воля сердца, не знающие иной силы и иного утешения, кроме пребывания Твоего и деяний Твоих на земле!

LXIII

Андзолето совершенно впустую продолжал путь в Прагу, так как Консуэло, дав проводнику ложные указания, необходимые, по ее мнению, для успеха задуманного плана, повернула влево по знакомой дороге – она два раза ездила с баронессой Амалией в замок, расположенный по соседству с маленьким городком Таусом. Замок этот был самым отдаленным пунктом, где ей случалось бывать во время своих редких выездов из замка Исполинов. Естественно, что местность эта и проходившие по ней дороги всплыли в ее памяти, как только она задумала и поспешно осуществила свое смелое бегство. Ей вспомнилось, что хозяйка замка, гуляя с ней по террасе и указывая на широко расстилавшийся перед глазами пейзаж, сказала:

– Эта красивая, обсаженная деревьями дорога, которая теряется, как видите, за горизонтом, ведет к Южному тракту – по ней мы ездим в Вену.

Итак, Консуэло, хорошо помня это указание, была уверена, что не заблудится и через некоторое время попадет на дорогу, по которой она приехала в Чехию. Она добралась до знакомого ей замка Бьела, прошла вдоль парка, невзирая на темноту, без труда нашла эту обсаженную деревьями дорогу и еще до рассвета очутилась почти в трех милях, считая по прямой, от того места, которое ей так хотелось покинуть. Молодая, крепкая, привыкшая с детства к большим пешим переходам, к тому же побуждаемая отважной волей, она встретила зарю, не ощущая особой усталости. Небо было безоблачно, идти по сухому, довольно мягкому песку было приятно. Непривычная для Консуэло скачка верхом несколько ее утомила, но известно, что ходьба в таком случае лучше, чем отдых, а у сильных, энергичных людей одна усталость заставляет забывать о другой.

Однако, когда звезды стали бледнеть, а сумрак рассеиваться, Консуэло испугалась своего одиночества. В темноте она чувствовала себя так спокойно; держась все время настороже, она была уверена, что в случае погони успеет вовремя спрятаться. Но при дневном свете, вынужденная идти по открытой местности, она не смела следовать по проезжему пути, тем более что вскоре вдаль показались группы людей, разбросанные точно черные точки по белеющей среди еще темных полей полосе тракта. На таком близком расстоянии от замка Исполинов ее мог узнать первый встречный, и потому она решила перейти на тропинку, которая, пересекая под прямым углом дорогу, огибающую холм, казалось, сокращала путь. По этой тропинке она прошла, никого не встретив, еще с час и очутилась в лесистой местности, где надеялась легко скрыться от людских взоров.

«Если бы мне удалось, – думала она, – никем не замеченной пройти милю восемь – десять, я могла бы спокойно выйти на большой тракт и при первом удобном случае нанять экипаж и лошадей».

Эта мысль заставила ее сунуть руку в карман и достать кошелек, чтобы сосчитать, сколько же у нее осталось денег для предстоящего ей длинного и трудного путешествия после того, как она щедро вознаградила проводника, вывезшего ее из замка Исполинов. Пока у нее еще не было времени об этом подумать, да и вряд ли она вообще решилась бы на столь отважный побег, обдумай она все с должной осторожностью. Но каковы же были ее удивление и испуг, когда кошелек оказался гораздо более легким, чем она предполагала. В спешке она, видно, захватила не больше половины имевшихся у нее денег или же впопыхах дала проводнику вместо серебряных золотые монеты, а возможно, что, открыв кошелек для уплаты ему, она выронила часть своего достояния на пыльную дорогу, – как бы то ни было, но, пересчитав не раз и не два свои скудные средства, она более не могла заблуждаться и поняла, что весь путь до Вены ей придется проделать пешком.

Это открытие несколько обескуражило Консуэло – не из-за усталости (она нисколько ее не боялась), а из-за опасностей, подстерегающих молодую женщину во время столь долгого

пешего путешествия. Страх, который она до того превозмогала, думая, что вот-вот сможет сесть в карету и избавиться от случайностей большой дороги, теперь, когда возбуждение ее улеглось, заговорил в ней с большей силой, чем она могла предвидеть. И вот, кажется, впервые в жизни испугавшись своей бедности и слабости, она быстро зашагала вперед, выбирая самые густые перелески, чтобы укрыться там в случае нападения.

Вскоре – и это еще увеличило ее тревогу – она заметила, что идет уже не по проторенной тропинке, а пробирается наугад по лесу, все более густому и дикому. Если это мрачное уединение и успокаивало ее в некотором отношении, то, с другой стороны, она была совсем не уверена, что идет в нужном направлении, и боялась, уж не возвращается ли она назад и не приближается ли, неведомо для себя, к замку Исполинов. Андзолето, возможно, был еще там: какое-нибудь подозрение, какая-нибудь случайность, желание отомстить Альберту могли удержать его в замке. Да разве и самого Альберта не следовало опасаться в первые минуты его смятения и отчаяния? Консуэло была убеждена, что он подчинится ее решению, но если бы она появилась в окрестностях замка и молодому графу сообщили, что ее можно догнать и вернуть обратно, разве он не примчался бы, чтобы своими мольбами и слезами добиться ее возвращения? А разве ее неудавшийся побег не поставил бы в смешное и неловкое положение и благородного молодого человека, и его семью, и самое Консуэло? К тому же через несколько дней Андзолето мог возвратиться, а это возобновило бы те непреодолимые затруднения и опасности, которые она так смело устранила своим отважным, великодушным поступком. Нет, лучше было все претерпеть, подвергнуться любой опасности, нежели возвращаться в замок Исполинов.

Итак, она решила во что бы то ни стало найти дорогу на Вену и следовать по ней, а пока остановилась в укромном, таинственном месте, где среди скал, под сенью старых деревьев, пробивался ручеек. Кругом виднелись маленькие следы каких-то животных. Были ли то окрестные стада или лесные звери, приходившие на водопой к источнику, скрытому среди чащи, Консуэло не знала. Она подошла к ручью, стала на колени на влажные камни и напилась студеной чистой воды, обманув этим голод, уже дававший себя чувствовать; затем, все еще стоя на коленях, призадумалась над своим положением.

«Я была бы безрассудной и пустой женщиной, если бы не смогла осуществить того, что затеяла, – сказала она себе. – Как! Может ли быть, чтобы дочь моей матери до того изнежилась от беззаботной жизни, что не в состоянии больше переносить солнечный жар, голод, усталость, опасности? Я так мечтала о бедности и свободе среди подавляющего меня благосостояния, так жаждала избавиться от него! И вот я прихожу в ужас после первого же шага! Разве не мое врожденное призвание – «устремляться вперед, страдать, дерзать»? Что изменилось во мне с тех пор, как мы с моей бедной матушкой еще до зари частенько шагали натошак, подкрепляя силы водой из маленьких придорожных источников? Хороша цыганка, что может лишь распевать в театрах, спать на пуху да путешествовать в каретах! А чего нам с матерью было опасаться? Не говаривала ли она мне при встрече с подозрительными людьми: «Ничего не бойся – тем, у кого ничего нет, ничто не угрожает, бедняки не воюют между собой». В то время она была еще молода и красива, а приходилось ли мне когда-либо видеть, чтобы ее оскорбляли прохожие? Злейшие из людей и те щадят беззащитных. А как же существуют бедные девушки, нищенки, бродящие по дорогам, не имея иного покровителя, кроме Бога? Неужели я вроде тех девиц, что не смеют сделать шагу из дома, не вообразив, что весь мир, опьяненный их прелестями, бросится их преследовать? Разве, когда ты одна идешь по общей для всех земле, это значит, что ты будешь опозорена и утратишь честь, так как у тебя нет средств окружить себя стражами? Впрочем, моя мать была сильна, как мужчина; она стала бы защищаться, как львица. А я разве не могу быть такой же мужественной и сильной? Ведь в моих жилах течет одна только добрая плебейская кровь! Разве нельзя покончить с жизнью, если тебе грозит потерять нечто более ценное? Да и, кроме того, я иду пока по спокойной стране, где жители кротки и милосердны, а

когда попаду в неизвестные края, то неужели мне так не повезет, что в минуту опасности я не встречу одно из тех простых, великодушных созданий, каких Господь посылает всюду, чтобы они помогали слабым и угнетенным! Ну, будем мужественны! Сегодня, во всяком случае, мне придется бороться только с голодом. Я не зайду, чтобы купить себе хлеба, ни в одну хижину до самого вечера, пока совсем не стемнеет и я не буду далеко, далеко... Голод знаком мне, и я умею переносить его, несмотря на бесконечные пиршества, к которым хотели приучить меня в замке Исполинов. День ведь быстро проходит. Когда наступит жара, а ноги мои устанут, я припомню философскую истину, так часто слышанную мною в детстве: «Кто спит – тот обедает», запрячусь куда-нибудь в углубление скалы, и ты увидишь, дорогая матушка, в эту минуту незримо идущая рядом со мной и охраняющая меня, что я умею отдыхать без диванов и без подушек».

Беседуя таким образом сама с собой, бедная девушка понемногу забывала о своих сердечных муках. Сознание большой победы, одержанной над собой, уменьшило ее страх перед Андзолето. Ей даже казалось, что с той минуты, как ей удалось расстроить план соблазнителя, душа ее освободилась от пагубной привязанности к нему, и в трудностях своего романтического похождения она находила какую-то грустную радость, то и дело повторяя про себя: «Тело мое страдает, зато душа спасена. Птица, не имея сил защититься, обладает крыльями, чтобы улететь, и, очутившись в воздушных просторах, смеется над ловушками и западнями».

Вспоминая Альберта, представляя себе его ужас и горе, она испытывала иные чувства, но всеми силами боролась против сострадания, овладевавшего ею при этом. Она твердо решила отстранять его образ до тех пор, пока не ощутит себя огражденной от слишком поспешного раскаяния и неосторожной нежности.

«Дорогой Альберт, благородный друг, – думала она, – я не могу не вздыхать, представляя себе твои муки. Но только в Вене я решусь разделить их с тобой, пожалеть тебя. Только в Вене позволю я своему сердцу признаться, как оно чтит тебя и скорбит о тебе!»

«А теперь вперед!» – сказала себе Консуэло, пробуя встать. Но тщетно два или три раза пыталась она подняться, чтобы покинуть этот дикий, красивый источник, чье сладкое журчание, казалось, манило ее продлить минуты отдыха. Сон, который ей хотелось отложить до полудня, смыкал ей веки, а голод – она не думала, что настолько отвыкла переносить его – вызывал непреодолимую слабость. Напрасно старалась она обмануть себя. Накануне она почти не притронулась к пище – слишком много было у нее беспокойств и волнений. Какой-то туман заволакивал ей глаза; холодный, изнуряющий пот расслаблял тело. Она бессознательно поддавалась усталости и в ту минуту, когда уже совсем было решила подняться и продолжать путь, тяжело опустилась на траву, голова ее склонилась на дорожный узелок, и она заснула крепким сном. Солнце, красное и жаркое, каким подчас оно бывает в короткое чешское лето, весело поднималось в небе. Ключ журчал по камешкам, словно желая своим монотонным напевом убаюкать путницу, а птицы летали над ее головой, щебеча свои нескончаемые песенки.

LXIV

Консуэло проспала часа три, как вдруг шум, не похожий ни на журчание ручья, ни на щебетание птиц, вывел ее из забытья. Не имея сил подняться и еще не понимая, где она находится, девушка приоткрыла глаза и увидела в двух шагах от себя человека, нагнувшегося над камнем и пьющего воду у источника точно так, как делала она сама, – попросту подставив рот под струю. Вначале Консуэло испугалась, но, взглянув еще раз на пришельца, появившегося в ее убежище, успокоилась, так как он, казалось, почти не обращал на нее внимания – то ли потому, что уже вволю нагляделся на путницу во время ее сна, то ли потому, что вообще не особенно интересовался подобной встречей. К тому же это скорее был мальчик, чем мужчина. На вид ему было не больше пятнадцати – шестнадцати лет; он был небольшого роста, худой и очень загорелый. Лицо его – ни красивое, ни безобразное – в эту минуту ничего не выражало, кроме мирной беззаботности.

Инстинктивно Консуэло опустила на лицо вуаль, но не изменила позы, считая, что если путник и дальше будет уделять ей так же мало внимания, как до сих пор, то лучше притвориться спящей и тем самым избежать неудобных для нее расспросов. Однако сквозь вуаль она не переставала следить за каждым движением незнакомца, выжидая, чтобы тот взял свою котомку и палку, лежавшие на траве, и пошел своей дорогой.

Но вскоре она увидела, что юноша тоже решил отдохнуть и даже позавтракать, так как он раскрыл свою дорожную сумку и, вынув оттуда большую краюху черного хлеба, принялся, не торопясь, резать ее и уписывать за обе щеки, застенчиво поглядывая время от времени на спящую и стараясь как можно осторожнее действовать своим складным, с пружинкой, ножом, словно боясь неожиданно разбудить ее. Этот знак внимания совсем успокоил Консуэло, а хлеб, который юный путник уплетал с таким явным удовольствием, пробудил в ней муки голода. Убедившись по изношенной одежде юноши и его запыленной обуви, что он беден и пришел издалека, она решила, что Провидение посылает ей неожиданную помощь, которой следует воспользоваться. Краюха хлеба была огромная, и незнакомец мог без особого ущерба для своего аппетита уделить ей кусочек. Консуэло встала, делая вид, что протирает глаза, как будто только что проснулась, и спокойно взглянула на юношу, чтобы внушить ему уважение на тот случай, если бы он вдруг утратил проявленную им до сих пор почтительность.

Но такая предосторожность была излишней. Как только юноша увидел ее на ногах, он слегка смутился, опустил глаза, несколько раз попытался поднять их и наконец, ободренный выражением лица Консуэло – неотразимо доброго и привлекательного, несмотря на ее старание придать себе строгий вид, – заговорил таким приятным, благозвучным голосом, что юная музыкантша сразу почувствовала к нему расположение.

– Ну вот, сударыня, наконец-то вы проснулись, – проговорил он улыбаясь, – вам здесь так славно спалось, что, не бойся я поступить невежливо, я последовал бы вашему примеру.

– Если вы так же любезны, как учтивы, окажите мне маленькую услугу, – сказала Консуэло покровительственным тоном старшей.

– Все, что вам будет угодно, – ответил юный путник, которому ее голос тоже показался приятным и душевным.

– Тогда продайте мне часть вашего завтрака, – сказала Консуэло, – если, конечно, это не будет для вас лишением.

– Продать?! – воскликнул, краснея, изумленный юноша. – О! Будь у меня настоящий завтрак, я бы не продал его вам! Разве я трактирщик? Я с удовольствием предложил бы вам его!

– Ну, так поделитесь со мной, а я взамен дам вам, на что купить себе лучший завтрак.

– Нет! Нет! – возразил он. – Вы, должно быть, смеетесь надо мной? Неужели вы так горды, что не можете принять от меня жалкого куска хлеба? Увы! Как видите, больше я ничего не могу предложить вам.

– Хорошо! Принимаю ваш хлеб, – сказала Консуэло, протягивая руку. – Вы так добры, что гордиться мне было бы стыдно.

– Берите! Берите, милая барышня! – радостно воскликнул юноша. – Вот вам хлеб, вот нож, режьте сами! Да не церемоньтесь! Едок я небольшой, а тут запасено на целый день.

– Но сможете ли вы купить еще хлеба на сегодня?

– Да ведь его везде можно достать. Ну, кушайте же, если хотите доставить мне удовольствие!

Консуэло не заставила себя больше просить, чувствуя, что было бы сущей неблагодарностью по отношению к братски угощавшему ее юноше отказать позавтракать с ним. И, усевшись неподалеку от него, она принялась уписывать хлеб, по сравнению с которым все изысканные блюда, когда-либо отведенные ею за столом богачей, показались ей безвкусными и грубыми.

– Какой у вас хороший аппетит, – сказал незнакомец, – просто смотреть приятно. Ну и повезло же мне, что я вас встретил, я очень доволен! Знаете что? Давайте съедим весь хлеб: как здесь ни пустынно, набредем же мы сегодня на какое-нибудь жильё.

– Значит, местность эта вам незнакома? – равнодушным тоном спросила Консуэло.

– Я здесь впервые, но путь, только что пройденный мною от Вены до Пильзена, мне знаком, и теперь я возвращаюсь обратно той же дорогой.

– Куда обратно? В Вену?

– Да, в Вену. А вы тоже туда направляетесь?

Консуэло, не зная, брать ли юношу в спутники или уклониться от его общества, притворилась, что не расслышала, чтобы не отвечать сразу.

– Но что я говорю, – продолжал он, – разве такая красавица отправится в Вену одна? А между тем вы, видно, путешествуете: у вас такой же узелок, как у меня, и вы идете пешком, как я.

Консуэло, решив избегать расспросов юноши, пока не убедится, насколько можно доверять ему, предпочла ответить вопросом на вопрос.

– Вы из Пильзена? – спросила она.

– Нет, – ответил молодой человек, не имевший ни склонности, ни повода быть недоверчивым, – я из Рорау, из Венгрии; мой отец – каретник.

– А как же вы ушли так далеко от дома? Разве вы не занимаетесь тем же ремеслом, что и отец?

– И да и нет. Отец мой каретник, а я нет. Но в то же время он музыкант, а я страстно хочу стать музыкантом.

– Музыкантом? Bravo! Это чудесная профессия.

– Может, она и ваша?

– Однако не учиться же музыке направлялись вы в Пильзен? Это, говорят, очень унылый военный город.

– О нет! У меня было поручение туда, а теперь я возвращаюсь в Вену, чтобы, найдя там себе какой-нибудь заработок, продолжать вместе с тем занятия музыкой.

– Что же вы избрали? Игру на каком-либо инструменте или пение?

– Пока и то и другое. У меня довольно хороший голос, а вот тут у меня скрипочка – хоть и плохонькая, но я пытаюсь передать на ней то, что чувствую. Однако я честолюбив и мне хотелось бы достичь большего.

– Сочинять, быть может?

– Вы угадали. У меня из головы не выходит это проклятое сочинительство. Сейчас покажу вам, какой у меня в дорожной котомке добрый спутник – объемистая книга; я разорвал ее на части, чтобы можно было брать отрывки с собой в дорогу. Когда устану, я сажусь в каком-нибудь уголке, немного позанимаюсь – и усталость как рукой снимет.

– Весьма похвально. Бьюсь об заклад, что это «Gradus ad Parnassum»¹ Фукса^[2]!

– Именно! Я вижу, вы хорошо знакомы с музыкой; теперь я уверен, что вы сами тоже музыкантша. Сейчас, когда вы спали, я, глядя на вас, говорил себе: «Совсем не похожа на немку, по лицу – настоящая южанка, вполне возможно, что итальянка, и, безусловно, артистка». Поэтому-то вы и доставили мне такое удовольствие, попросив у меня хлеба; а теперь я вижу, что, хоть вы как нельзя лучше говорите по-немецки, выговор у вас все-таки иностранный.

– А что, если вы ошибаетесь? Вы тоже мало похожи на немца, и лицо у вас смуглое, как у итальянца, а между тем...

– О! Вы слишком любезны, сударыня! Лицо у меня как у африканца, и товарищи мои по хору в соборе Святого Стефана^[3] прозвали меня мавром. Но вернемся к нашему разговору. Я был немало удивлен, увидев, что вы спите в лесу совсем одна, и начал строить тысячи предположений относительно вас. Быть может, думалось мне, моя счастливая звезда привела меня сюда, чтобы встретить добрую душу, которая мне поможет. Одним словом... сказать уж вам все?

– Говорите, не бойтесь.

– Мне показалось, что вы слишком хорошо одеты и слишком белы лицом для бедной странницы, а увидев у вас дорожный мешок, я вообразил, что вы состоите при некоей особе, иностранке и... артистке! О! При той великой артистке, которую я жажду увидеть и чье покровительство было бы моим спасением и счастьем. Ну, мадемуазель, признайтесь: вы из какого-нибудь соседнего замка и шли с поручением куда-нибудь или возвращаетесь домой? И вы, конечно, знаете... О да! Вы должны знать замок Исполинов?

– Замок Исполинов? Вы идете в замок Исполинов?

– По крайней мере, пытаюсь туда пробраться. Несмотря на все указания, данные мне в Клатау, я так заблудился в этом проклятом лесу, что не представляю себе, как и выбраться отсюда. К счастью, вы знаете замок Исполинов и будете так добры сказать мне, далеко ли еще до него.

– Но что же вам надо в замке Исполинов?

– Я хочу повидаться с Порпориной.

– В самом деле?

Но тут Консуэло, боясь выдать себя путнику, который мог упомянуть о ней в замке Исполинов, спохватилась и равнодушно спросила:

– А скажите, пожалуйста, кто такая эта Порпорина?

– Как, вы не знаете? Увы! Я вижу, вы совсем чужая в этих краях. Но раз вы музыкантша и знаете Фукса, то, конечно, знакомы и с именем Порпора.

– А вы знакомы с Порпорой?

– Нет еще, но, как раз желая познакомиться с ним, я и ищу покровительства его любимой ученицы, знаменитой синьоры Порпорины.

– Расскажите же мне, как вам это пришло в голову? Быть может, я найду способ помочь вам проникнуть в этот замок и к этой Порпорине.

– Сейчас расскажу вам все^[4]. Как я уже говорил, я сын честного каретника, уроженец маленького местечка на границе Австрии и Венгрии. Отец мой – церковный ризничий и органист в нашей деревне. У моей матери, бывшей ранее поварихой у владельца наших мест, пре-

¹ «Шаг на Парнас» (лат.).

красный голос, и отец вечерами, отдыхая от работы, сопровождал ее на арфе. Так я, естественно, пристрастился к музыке, и, помнится, с самого раннего детства для меня не было большего удовольствия, как принимать участие в наших семейных концертах. Держа в руках кусок дерева, я пилил по нему обломком рейки, воображая, что это скрипка со смычком и что я извлекаю из нее волшебные звуки. Да, да! Мне и теперь еще кажется, что мои милые щепки не были немы и дивный голос, неслышимый для других, возникал из-под моего смычка и опьянял меня неземными мелодиями.

Однажды наш родственник Франк, школьный учитель в Гаймбурге, зашел к нам, когда я играл на своей воображаемой скрипке, и его поразил охвативший меня экстаз. Он заявил, что это свидетельствует о необычайном таланте, и увез меня с собой в Гаймбург, где в течение трех лет со всей строгостью, смею вас уверить, обучал меня музыке. Какие чудесные пассажи с руладами и фиоритурами разыгрывал он палочкой для отбивания такта на моих пальцах и ушах! Однако я не падал духом. Я учился читать и писать, у меня была настоящая скрипка, я учился простейшим приемам игры на ней, а также основным правилам пения и латинского языка. Я продвигался вперед настолько быстро, насколько это было возможно с таким нетерпеливым преподавателем, как мой родственник Франк.

Было мне около восьми лет, когда случай или, вернее, Провидение, в которое я, как добрый христианин, всегда верил, привело к нам в дом господина Рейтера^[5], капельмейстера венского собора. Меня представили ему как чудо-ребенка, и когда я свободно разобрал с листа пьесу, то настолько понравился ему, что он увез меня в Вену, где устроил в хор мальчиков при соборе Святого Стефана.

Там мы занимались всего два часа в день, а остальное время, предоставленные самим себе, могли делать все, что хотели. Но любовь к музыке подавляла во мне и детскую лень, и детскую непоседливость. Стоило мне, бывало, играя с товарищами на площади, услышать звуки органа, как я бросал все и возвращался в церковь, где упивался пением и музыкой. По вечерам я часами простаивал на улице под окнами, из которых доносились отрывки концерта или просто слышался приятный голос. Я был любознателен, я жаждал узнать, понять все, что поражало мой слух. Но особенно мне хотелось сочинять. В тринадцать лет, не зная ни единого правила, я отважился написать мессу и показал партитуру нашему учителю Рейтеру. Он поднял меня на смех и посоветовал немного поучиться, прежде чем браться за сочинительство. Ему легко было так говорить. А у меня не было возможности платить учителю, ибо родители мои слишком бедны, чтобы посылать деньги и на мое содержание и на образование. Наконец однажды я получил от них шесть флоринов, на которые и купил себе вот эту книгу и еще книгу Маттезона^[6]. С большим жаром принялся я изучать их и находил в этом громадное удовольствие. Голос мой окреп и считался лучшим в хоре. Несмотря на сомнения и неясности, порождаемые моим невежеством, которое я силился рассеять, я все же чувствовал, что развиваюсь и в голове моей возникают музыкальные мысли. Но я с ужасом видел, что приближаюсь к тому возрасту, когда по правилам капеллы мне придется покинуть детскую певческую школу. Не имея ни средств, ни покровителей, ни учителей, я спрашивал себя: неужели восемь лет занятый в соборе – это последние годы моего учения и я должен буду вернуться в родительский дом, чтобы обучаться каретному ремеслу? В довершение горестей я стал замечать, что маэстро Рейтер, вместо того чтобы принимать во мне участие, стал обходиться со мной весьма сурово и думал только о том, как бы приблизить час моего исключения из школы. Я не понимал причины столь незаслуженной неприязни. Некоторые из моих товарищей легкомысленно уверяли меня, что он мне завидует, находя в моих сочинительских попытках проявление музыкального гения, что он вообще ненавидит и лишает надежды молодых людей, в которых обнаруживает талант, превосходящий его собственный. Я далек от столь лестного для моего самолюбия толкования его немилости, но мне все-таки кажется, что не следовало мне показывать ему мои сочинительские опыты: он принял меня за безмозглого честолюбца и самонадеянного нахала.

– К тому же, – перебила рассказчика Консуэло, – старые учителя вообще не любят учеников, которые явно опережают их в понимании того, что им преподается. Но как вас зовут, дитя мое?

– Иосиф.

– Иосиф... а дальше?

– Иосиф Гайдн.

– Непременно запомню ваше имя, чтобы со временем, если из вас что-нибудь выйдет, понять, почему ваш учитель так неприязненно относился к вам и почему меня так заинтересовал ваш рассказ. Пожалуйста, продолжайте.

Юный Гайдн снова принялся за свое повествование, а Консуэло, пораженная сходством их судьбы – судьбы двух бедняков и артистов, внимательно вглядывалась в черты юного певчего. Его худенькое, с желтизной, лицо необыкновенно оживилось в порыве излияний, голубые глаза сверкали умом, одновременно лукавым и добродушным, и все в его манере держать себя и в способе выразиться говорило о натуре незаурядной.

LXV

– Каковы бы ни были причины неприязненного отношения ко мне маэстро Рейтера, – продолжал свой рассказ Иосиф, – он доказал мне это весьма жестоко и в связи с проступком самым незначительным. У меня были новые ножницы, и я, как настоящий школьник, пробо-вал их на всем, что только попадалось мне под руку. Случилось так, что сидевший впереди меня мальчик-певчий, очень гордившийся своей длинной косицей, то и дело стирал ею записи, которые я делал мелом на аспидной доске. И вот в голове моей мелькнула внезапная роковая мысль. Один миг – и... крак! Ножницы мои раскрылись, и косица очутилась на полу! Учитель своим ястребиным взором следил за каждым моим движением. Прежде чем мой бедный товарищ успел заметить свою горестную утрату, меня уже разбрали, обвинили в низости и без дальних церемоний выгнали вон.

Вышел я из детской певческой школы в ноябре прошлого года в семь часов вечера и очутился на площади без гроша в кармане и не имея иной одежды, кроме бывшего на мне жалкого платья. Тут на меня нашла минута отчаяния. Меня так злобно разбрали и выгнали с таким скандалом, что я вообразил, будто и в самом деле совершил великий проступок. Горько оплакивал я пук волос и обрывок ленты, упавшие под моими злополучными ножницами. Товарищ, чью главу я так опозорил, прошел мимо меня, тоже плача. Никогда еще не было пролито столько слез, не испытано столько сожалений и угрызений совести из-за какой-то прусской косицы^[7]! Мне хотелось броситься моему товарищу на шею, стать перед ним на колени, но я не посмел и стыдливо спрятался в темном углу. А ведь, может быть, бедный мальчик оплакивал мою опалу еще больше, чем собственные волосы.

Я провел ночь на улице; а утром, когда я, вздыхая, размышлял о том, как необходим и вместе с тем недостижим для меня сейчас завтрак, ко мне подошел Келлер, парикмахер при певческой школе святого Стефана. Он только что причесал маэстро Рейтера, и тот, продолжая на меня злиться, ни о чем другом не мог говорить, кроме ужасного происшествия с отрезанной косицей. Поэтому шутник Келлер, заметив мою жалкую фигуру, покатился со смеху и принялся осыпать меня язвительными насмешками. «Вот он, бич парикмахеров! – закричал он еще издали, завидев меня. – Вот он, враг всех и всякого, кто, подобно мне, поддерживает красоту шевелюры! Ах! Мой юный обрезчик волос! Милейший мой истребитель косиц! Пожалуйста-ка сюда, дайте я остригу ваши прекрасные черные кудри, чтобы надеть из них косиц взамен тех, что падут под вашими ножницами!» Я был в отчаянии, в ярости. Закрыв лицо руками, считая себя предметом всеобщей ненависти, я кинулся было бежать, но добряк Келлер остановил меня. «Куда ты, бедняга? – спросил он более мягким тоном. – Куда ты денешься без хлеба, без одежды, без друзей, да еще с таким преступлением на совести? Ну вот что, мне жаль тебя, особенно из-за твоего красивого голоса, которым я не раз наслаждался в соборе. Идем ко мне. У меня с женой и детьми всего одна комната на шестом этаже. Но и этого нам более чем достаточно, так что мансарда, которую я снимаю на седьмом, пустует. Живи в ней и кормись у нас до тех пор, пока не найдешь работы. Но чур! К волосам моих клиентов относись с должным уважением и париков моих ножницами не касайся!»

И я пошел за великодушным Келлером, моим спасителем, моим отцом! Он был так добр, этот бедный труженик, что, помимо квартиры и стола, уделил мне еще немного денег, чтобы я мог продолжать учение. Я взял напрокат скверненький клавесин, весь источенный жучком, и, забившись на чердак со своими Фуксом и Маттезоном, всецело предался страсти к сочинительству. С этой минуты я могу считать, что Провидение стало покровительствовать мне. Всю зиму я с наслаждением изучал первые шесть сонат Эммануила Баха^[8] и, как мне кажется, хорошо их понял. В то же время небо, как бы в награду за мое усердие и настойчивость, послало мне небольшую работу, давшую мне возможность существовать и расплатиться с моим дорогим

хозяином. По воскресеньям я играл на органе в домовый церкви графа Гаугвица, а перед тем по утрам исполнял партию первой скрипки в церкви Святых отцов милосердия. Кроме того, у меня нашлись два покровителя. Один из них – аббат, который написал множество стихов на итальянском языке, как говорят, очень хороших. Он в большой милости у его величества и у королевы-императрицы. Зовут его господин Метастазіо^[9]; он живет в одном доме с Келлером и со мной, и я даю уроки молодой девице, которая слышет его племянницей. Другой мой покровитель – его превосходительство венецианский посланник.

– Синьор Корнер? – с живостью спросила Консуэло.

– Ах! Вы знаете его? – воскликнул Гайдн. – Господин аббат Метастазіо ввел меня к нему в дом. Мой скромный талант пришелся там по вкусу, и его превосходительство обещал устроить меня учеником к маэстро Порпоре, который сейчас вместе с госпожой Вильгельминой, супругой или возлюбленной его превосходительства, находится на водах в Маненсдорфе. Это обещание страшно обрадовало меня. Подумать только – стать питомцем такого великого учителя, лучшего в мире преподавателя пения! Изучить композицию, истинные, подлинные основы итальянского искусства! Я уже считал себя спасенным от всех невзгод, благословлял свою счастливую звезду и воображал себя великим музыкантом. Но увы! Несмотря на добрые намерения господина Корнера, ему не так легко удалось выполнить свое обещание, как я думал, и если я не найду более солидной рекомендации, боюсь, что не смогу даже близко подойти к Порпоре. Говорят, знаменитый маэстро – большой чудак, и насколько он может быть предан, внимателен и великодушен в отношении некоторых своих учеников, настолько бывает капризен и жесток с другими. По-видимому, маэстро Рейтер – ничто в сравнении с Порпорой, и я дрожу при одной мысли увидеть его. Однако ж хотя он сначала и отказал наотрез его превосходительству, объясняя свой отказ нежеланием брать новых учеников, но я знаю, что господин посланник будет еще настаивать, и поэтому не теряю надежды. Я решил терпеливо выносить самые жестокие оскорбления со стороны Порпоры, лишь бы он, браня, научил меня чему-нибудь.

– Вы приняли благое решение, – заметила Консуэло. – Рассказ о резкости великого музыканта и его суровом обращении не преувеличен. Но вы можете надеяться, ибо если вы терпеливы, способны слепо повиноваться и обладаете настоящим музыкальным дарованием, – а мне кажется, что это так, – если вы не потеряете голову при первом же налетевшем шквале и вам удастся проявить перед маэстро свою смысленность и быстроту соображения, то, поверьте мне, после трех-четырех уроков он станет для вас самым внимательным и добросовестным учителем. А если вы так же добры, как умны, в чем я почти уверена, то Порпора станет вам верным другом, справедливым, благожелательным отцом.

– О! Вы бесконечно радуете меня. Я вижу, что вы его знаете и должны также знать его знаменитую ученицу, новую графиню Рудольштадт... Порпорину...

– Но где же вы слышали об этой Порпорине и чего хотите от нее?

– Я хочу от нее письма к Порпоре и ее деятельной поддержки, когда она будет в Вене; ведь она, конечно, поедет туда после своей свадьбы с богатым сеньором, владельцем замка Исполинов.

– А откуда вы знаете об этой свадьбе?

– Благодаря величайшей в мире случайности. Надо вам сказать, что мой друг Келлер узнал месяц тому назад, что в Пильзене умер его родственник, завещавший ему небольшое имущество. У Келлера не было ни времени, ни средств на такое путешествие, и он все не решался предпринять его, боясь, что наследство не покроет дорожных расходов и потери времени. Как раз перед этим я получил немного денег за свою работу и предложил ему съездить в Пильзен в качестве его доверенного. Вот я и отправился в этот город и в одну неделю, к своему великому удовольствию, закончил дело о наследстве Келлера. Конечно, оно не бог весть как велико, но и этим немногим ему не приходится пренебрегать. Я везу ему документы на

владение небольшой усадьбой, и теперь он по своему усмотрению сможет либо продать ее, либо пользоваться доходами с нее. Возвращаясь из Пильзена, я очутился вчера в местечке Клатау, где и заночевал. День был базарный, и постоянный двор оказался битком набит народом. Я сидел за столом, где закусывал толстяк, которого величали доктором Вецелиусом; в жизни не встречал я большего обжоры и болтуна. «Знаете новость? – спросил он соседей. – Граф Альберт Рудольштадт, этот сумасшедший, архисумасшедший, чуть ли не бешеный, женится на учительнице, дававшей уроки музыки его двоюродной сестре. Эта авантюристка, нищая, говорят, была актрисой в Италии, и старик музыкант Порпора похитил ее, но скоро она ему опротивела, и он отправил ее в замок Исполинов. Событие это держалось в величайшем секрете, и сначала, не понимая ничего в болезни и судорогах девицы, считавшейся весьма добродетельной, Рудольштадты вызвали меня для лечения злокачественной лихорадки. Но едва я успел пощупать пульс больной, как граф Альберт, по-видимому знавший кое-что о ее добродетели, бросился на меня, словно одержимый, оттолкнул и больше не впустил в комнату. Все было окружено полнейшей тайной. Старушка канонисса, по-моему, играла роль повитухи. Никогда уважаемой даме не приходилось переживать такого конфуза. Ребенок исчез. Но удивительнее всего, что молодой граф, не имеющий, как вы знаете, представления о времени и принимающий месяцы за годы, вообразил себя отцом ребенка и так энергично поговорил со своей семейкой, что та, боясь, как бы им снова не овладело безумие, согласилась на этот блестящий брак».

– О, какой ужас! Какая гнусность! – воскликнула Консуэло вне себя от гнева. – Это страшная, нелепая, возмутительная клевета! Целая паутина клеветы!

– Не думайте только, что я хоть на секунду поверил этому, – возразил Иосиф Гайдн. – Физиономия старого доктора так же глупа, как и зла, и еще прежде, чем его изобличили во лжи, я был уверен, что он клеветает и несет вздор. Но едва успел он закончить свою выдумку, как пять или шесть окружавших его молодых людей встали на защиту девушки, и я таким образом узнал правду. Все наперебой превозносили красоту, прелесть, скромность, ум и несравненный талант Порпоры. Всем им была понятна любовь к ней графа Альберта, все завидовали его счастью и восхищались старым графом, согласившимся на их брак. Доктора Вецелиуса обозвали вралем и безумцем. Так как при этом упоминалось о глубоком уважении маэстро Порпоры к его юной питомице, которой он пожелал даже дать свое имя, то мне пришла в голову мысль отправиться в замок Исполинов, пасть к ногам будущей или, может быть, уже настоящей графини (говорят, будто свадьба состоялась, но это держат пока в секрете, боясь вызвать неудовольствие императорского двора), рассказать Порпорине свою историю и просить ее, чтобы она помогла мне стать учеником ее знаменитого учителя.

Несколько минут Консуэло молчала: последние слова Иосифа относительно императорского двора поразили ее. Но вскоре она снова обратилась к нему.

– Дитя мое, – проговорила она, – не ходите в замок Исполинов, вы не застанете там Порпоры. Она не вышла замуж за графа Рудольштадта, и неизвестно, состоится ли этот брак вообще. Правда, речь о том шла, и мне кажется, жених и невеста достойны друг друга. Но Порпорина, несмотря на свою преданность и дружеское расположение к графу Альберту, несмотря на глубокое уважение и безграничное почтение к нему, не нашла возможным отнестись опротивительно к столь серьезному делу. Она взвесила, с одной стороны, какой ущерб нанесла бы этой знатной семье, лишив ее расположения и, быть может, даже покровительства императрицы, а также уважения других знатных вельмож и жителей всего края. С другой стороны – какой вред нанесла бы она себе, отказавшись служить дивному искусству, которое с любовью изучала и которому смело решила посвятить себя. Она сказала себе, что жертва была бы велика как с той, так и с другой стороны, и, прежде чем очертя голову пойти на нее, она должна посоветоваться с Порпорой, а молодому графу дать время убедиться в прочности своего чувства. И вот она взяла и отправилась в Вену пешком, без провожатого и почти без денег, унеся с собой из всех

предложенных ей богатств лишь чистую совесть и гордость быть артисткой. Ушла с надеждой вернуть покой и рассудок тому, кто ее любит.

– О, тогда это настоящая артистка! Какая она умница и какая у нее благородная душа, если она так поступила! – воскликнул Иосиф, глядя на Консуэло блестящими глазами. – И, если не ошибаюсь, с ней-то я и говорю, перед ней и падаю ниц!

– Да, она сама протягивает вам руку и предлагает свою дружбу, советы и поддержку у Порпору. Мы, я вижу, вместе будем продолжать путь и, если Бог поможет, как Он до сих пор помогал нам обоим и как помогает всем уповающим только на Него, скоро доберемся до Вены и будем там брать уроки у одного и того же учителя.

– Слава богу! – со слезами радости, в восторге воздевая руки к небу, воскликнул Гайдн. – То-то я почувствовал, глядя на вас, когда вы спали, что в вас есть что-то необыкновенное и что моя жизнь, моя будущность в ваших руках!..

LXVI

После того как молодые люди познакомились ближе, дружески обсудив подробности своего положения, они стали думать, как им лучше добраться до Вены и какие меры предосторожности следует принять. Прежде всего они вынули кошельки и сосчитали свои деньги. Консуэло все-таки оказалась богаче своего спутника. Но их соединенных капиталов хватало только на то, чтобы без особых лишений проделать путь пешком, не страдая от голода и не проводя ночи под открытым небом. Ни о чем другом нечего было и мечтать, и Консуэло примирилась с этим. Однако, невзирая на философскую веселость девушки, Иосиф был озабочен и задумчив.

– Что с вами? – спросила она. – Вы, быть может, боитесь, что я окажусь для вас обузой в пути? А я готова биться об заклад, что хожу лучше вас.

– Вы, конечно, все делаете лучше, чем я, – ответил он, – но меня тревожит вовсе не это. Меня печалит и пугает мысль, что вы молоды и красивы, что взоры встречных будут с вожделием останавливаться на вас, а я мал ростом и тщедушен и, при всем желании отдать за вас жизнь, быть может, не в силах буду защитить вас.

– Есть о чем думать, бедный мой мальчик! Будь я даже так хороша, чтобы привлекать взоры прохожих, я полагаю, что уважающая себя женщина всегда сможет внушить почтение, если умеет держать себя.

– Будь вы уродливы или красивы, молоды или стары, дерзки или скромны – вы не в безопасности на этих дорогах, запруженных солдатами и разного рода бездельниками. С тех пор как заключен мир, страна наводнена военными, возвращающимися по своим гарнизонам, особенно волонтерами – любителями приключений, которые, очутившись без дела и не зная, где теперь поживиться, грабят прохожих, берут поборы с крестьян и вообще ведут себя как в завоеванной стране. Бедность наша является для нас в некотором роде защитой, но довольно того, что вы женщина, чтобы пробудить в них звериные инстинкты. Я серьезно думаю об изменении нашего маршрута. Вместо того чтобы идти на Писек и Будвейсс – укрепленные города, через которые постоянно проходят расформированные войска и прочий сброд, – мы поступим благоразумнее, спустившись по течению Влтавы горными, более или менее пустынными ущельями, где ничто не возбуждает жадности этих господ и некого грабить. Мы пройдем вдоль реки до Рейхенау и вступим в Австрию через Фрейштадт. А очутившись на имперской земле, мы будем под защитой полиции, не столь беспомощной, как чешская.

– Вы, значит, знакомы с этой дорогой?

– Я даже не знаю, существует ли она, но у меня в кармане есть маленькая карта. Покидая Пильзен, я предполагал – для разнообразия – возвратиться через горы и постранствовать...

– Что ж, пусть будет так. Мысль ваша мне по душе, – сказала Консуэло, рассматривая развернутую Иосифом карту. – Везде есть тропинки для пешеходов и хижин, готовые приютить скромных людей с тощим карманом. Да, я вижу горную цепь; она идет к истокам Влтавы, а потом тянется вдоль реки.

– Это главная горная цепь Богемского леса. Там расположены ее самые высокие хребты – они служат границей между Баварией и Чехией. Придерживаясь этих высот, мы без труда доберемся до нее. Они указывают на то, что справа и слева идут долины, спускающиеся к обеим провинциям. Раз теперь, слава богу, ничто не влечет меня в этот замок Исполинов, который никак не найти, я не сомневаюсь, что сумею провести вас верной и кратчайшей дорогой.

– Так в путь! – сказала Консуэло. – Я вполне отдохнула. Сон и ваш чудесный хлеб вернули мне силы, и я думаю, что сегодня смогу пройти еще добрых две мили. К тому же мне хочется как можно скорее уйти из этих мест, где я все боюсь встретить кого-нибудь, кто меня знает.

– Постойте, – проговорил Иосиф, – у меня мелькнула интересная мысль!

– Посмотрим какая!

– Если вам не претит переодеться мужчиной, ваше инкогнито будет обеспечено, и вы избежите во время наших ночлегов всех дурных предположений, какие могут возникнуть относительно девушки, которая путешествует вдвоем с молодым человеком.

– Мысль недурна, но вы забываете, что мы не так богаты, чтобы делать покупки. Кроме того, где найти одежду по моему росту?

– Видите ли, мысль эта, пожалуй, не пришла бы мне в голову, не имей я с собой всего, что нужно для ее выполнения. Мы с вами одного роста, что делает больше чести вам, чем мне, а у меня в мешке есть новый, с иголки, костюм, который совершенно изменит вашу внешность. Вот история этого костюма: мне прислала его моя добрая матушка. Думая сделать мне полезный подарок и желая, чтобы я был прилично одет, когда явлюсь в посольство давать уроки барышням, она решила заказать для меня в своей деревне изящнейший костюм по нашей тамошней моде. Правда, костюм живописен и материя хорошая, вы увидите. Но представляете, какое впечатление я произвел бы в посольстве и каким взрывом смеха встретила бы меня племянница господина Метастазиио, покажись я в деревенском казакине и широчайших сборчатых штанах! Я поблагодарил мою бедную матушку за доброе намерение, а сам решил продать костюм какому-нибудь крестьянину или странствующему актеру. Вот почему я и захватил его с собой, но, к счастью, не нашел случая сбыть. Здешние жители утверждают, что костюм старомоден, и спрашивают, польский он или турецкий.

– А вот случай и нашелся! – воскликнула, смеясь, Консуэло. – Мысль ваша превосходна, и странствующая актриса вполне удовольствуется вашими турецкими штанами, которые, кстати, очень похожи на юбку. Покупаю у вас костюм, правда, в долг, а еще лучше – с условием, что вы отныне становитесь кассиром нашей «шкатулки», как выражается, говоря о своей казне, прусский король, и будете оплачивать мои путевые расходы до Вены.

– Там видно будет, – проговорил Иосиф и положил кошелек в карман с твердым намерением не брать за костюм денег. – Теперь остается узнать, подойдет ли вам костюм. Я заберусь вон в ту рощу, а вы идите за эти скалы: там вы найдете для себя просторную и надежную комнату для переодевания.

– В таком случае выходите на сцену, – ответила Консуэло, указывая на рощу, – а я удалюсь за кулисы.

И в то время как ее почтительный спутник добросовестно углублялся в рощу, она, спрятавшись за скалу, занялась своим переодеванием. Когда Консуэло вышла из убежища и взглянула в воду источника, послужившего ей зеркалом, она не без некоторого удовольствия увидела в ней прелестнейшего крестьянского мальчика, когда-либо порожденного славянской расой. Ее тонкую и гибкую, как тростник, талию опоясывал широкий красный кушак, а стройная, словно у серны, ножка скромно выглядывала из-под широких складок шаровар, едва доходивших ей до щиколотки. Черные волосы, которые она никогда не пудрила, были острижены во время болезни и теперь кольцами вились вокруг лба. Она растрепала их рукой, придав прическе небрежный вид, подобающий юному пастушку. Умея, как актриса, носить любой костюм, умея даже благодаря мимическому таланту мгновенно придавать своему лицу простодушное и простоватое выражение, она почувствовала себя настолько преображенной, что к ней сразу вернулись мужество и спокойствие. Как бывает с актерами, облачившимися в театральное платье, она не только вошла в роль, но до того перевоплотилась в изображаемый персонаж, что невольно ощутила беспечность и прелесть невинного бродяжничества, задор, силу и живость мальчишки, вырвавшегося на свободу.

Ей пришлось трижды свистнуть, прежде чем Гайдн, ушедший в глубь рощи дальше, чем было нужно, не то из почтительности, не то из опасения перед соблазном заглянуть в расщелину скалы, вернулся к ней. Увидев преобразившуюся девушку, он вскрикнул от удивления и восторга; хоть он и ожидал найти ее изменившейся, однако в первое мгновение едва поверил

собственным глазам. Это превращение поразительно красило Консуэло, и юному музыканту она показалась совсем иной.

К наслаждению, какое испытывает подросток, любясь женской красотой, всегда при­мешивается некоторое чувство страха, и одежда, придающая женщине даже в глазах людей искушенных известную таинственность и загадочность, играет немалую роль в его беспокой­стве и смущении. Иосиф, чистый душой, что бы ни говорили некоторые его биографы, был юношей целомудренным и робким. Он был ослеплен, когда увидел Консуэло, спящую у источ­ника, раскрасневшуюся от заливающих ее солнечных лучей, неподвижную, точно прекрасная статуя. Говоря с нею и слушая ее, он ощутил дотоле не испытанное им сердечное волнение, которое приписывал восторгу и радости от столь счастливой встречи. Но сердце его учащенно билось все те четверть часа, которые он провел вдали от нее в роще, во время ее таинственного переодевания. Сейчас первоначальное волнение снова охватило его, и, подходя к Консуэло, он делал величайшее усилие, чтобы скрыть под маской беспечности и веселости смертельную тревогу, пробуждавшуюся в его душе.

Столь удачная перемена одежды, словно в самом деле превратившая девушку в юношу, внезапно изменила также и душевное состояние Иосифа. Теперь он ощутил к ней порыв только братской живейшей дружбы, неожиданно возникшей между ним и его милым попутчиком. То же стремление нестись вперед, видеть новые места, то же презрение к дорожным опасностям, та же заразительная веселость – все, что одушевляло в эту минуту Консуэло, захватило и его; и они легко, как две перелетные пташки, пустились в путь по лесам и долинам.

Однако, пройдя несколько шагов и видя, как она несет на плече привязанный к палке узелок с вещами, к которым прибавилось только что снятое женское платье, Иосиф позабыл, что должен считать ее мальчиком. Между ними по этому поводу разгорелся спор: Консуэло доказывала, что он и так более чем достаточно нагружен своей дорожной котомкой, скрипкой и тетрадью «Gradus ad Parnassum»; Иосиф же решительно объявил, что положит узелок Кон­суэло в свою котомку, а она ничего нести не будет. Ей пришлось уступить, но для того, чтобы выглядеть правдоподобнее, и для соблюдения мнимого между ними равенства он согласился, чтобы Консуэло несла на перевязи его скрипку.

– Знаете, – говорила она ему, добиваясь этой уступки, – необходимо, чтобы у меня был вид вашего слуги или, по крайней мере, проводника, ибо я крестьянин, это ясно, а вы горо­жанин.

– Какой там горожанин, – отвечал, смеясь, Гайдн, – ни дать ни взять подмастерье парик­махера Келлера!

Славный юноша был немного огорчен, что не может показаться перед Консуэло в более изящном одеянии, чем его выцветший от солнца и несколько истрепавшийся в дороге костюм.

– Нет, – сказала Консуэло, желая утешить его, – у вас вид юноши из зажиточной семьи, который промотал денежки и теперь возвращается в отчий дом с подручным садовника, соучастником его походов.

– Мне кажется, нам лучше всего взять на себя роли, наиболее подходящие к нашему положению, – возразил Иосиф. – Мы оба, а особенно вы, можем казаться только тем, чем явля­емся в данную минуту, – то есть бедными странствующими актерами. А так как обычно такого рода люди одеваются как могут, в то, что найдется или что придется по карману, то нередко можно встретить трубадуров вроде нас, которые бродят по дорогам в обносках какого-нибудь маркиза или солдата. Вот и мы можем носить: я – черный потертый костюм скромного учителя, а вы – необычное в этих краях платье венгерского крестьянина. Хорошо даже в случае рас­спросов сказать, что мы недавно странствовали в тех местах. Я могу с видом знатока распро­страняться о знаменитом селе Рорау, никому не ведомом, и о великолепном городе Гаймбурге, до которого никому нет дела. Ну, а вас всегда выдаст ваше милое итальянское произношение, и вы хорошо сделаете, если не будете отрицать, что вы итальянец и певец по профессии.

– Кстати, нам надо придумать себе прозвища, таков обычай. Ваше уже найдено: поскольку я итальянец, я буду звать вас Беппо, это уменьшительное от Иосиф.

– Зовите как хотите. У меня то преимущество, что я не известен ни под каким именем. Вы – другое дело: вам непременно надо прозвище. Какое же вы себе выберете?

– Да первое попавшееся уменьшительное венецианское имя, хотя бы Нелло, Мазо, Ренцо, Дзото... О нет, только не это! – воскликнула она, когда у нее по привычке сорвалось с языка уменьшительное имя Андзолето.

– Почему же не это? – спросил Иосиф, уловивший, с какою страстностью она произнесла эти слова.

– Оно принесет мне несчастье. Говорят, есть такие имена...

– Ну, так как же мы окрестим вас?

– Бертони. Это распространенное итальянское имя и нечто вроде уменьшительного от имени Альберт.

– Синьор Бертони! Хорошо звучит, – проговорил Иосиф, силясь улыбнуться. Но то, что Консуэло вспомнила о своем знатном женихе, кинжалом вонзилось в его сердце. И, глядя, как она идет впереди него легкой, непринужденной походкой, он сказал себе в утешение: «А я было совсем забыл, что она мальчик!»

LXVII

Вскоре они вышли на опушку леса и направились на юго-восток. Консуэло шла с непокрытой головой, а Иосиф, видя, как солнце опалает ее белое, нежное лицо, не решался высказать ей по этому поводу свое огорчение. Шляпа на нем была далеко не новая, он не мог предложить ее девушке и, чувствуя, что ничем не в состоянии ей помочь, не хотел упоминать о своей напрасной тревоге; он только сунул шляпу под мышку таким резким движением, что оно было замечено его спутницей.

– Вот странная фантазия! – заметила она. – Вы, должно быть, находите погоду пасмурной, а равнину тенистой? Это напоминает мне о том, что моя собственная голова не покрыта. А поскольку я не всегда была избалована благами жизни, то знаю множество способов, как добывать их себе без особых расходов. – Говоря это, она сорвала ветку дикого винограда и, скрутив ее жгутом, сделала себе шляпу из зелени.

«Вот теперь она похожа на музу, – подумал Иосиф, – и опять перестала быть мальчиком».

Они проходили селом; заметив лавку, где продается всякая всячина, Иосиф поспешно вошел в нее и, прежде чем Консуэло могла угадать его намерение, появился, держа в руке простенькую соломенную шляпу с широкими, приподнятыми с боков полями, какие носят крестьяне придунайских равнин.

– Если вы начнете так роскошествовать, – сказала она, надевая новый головной убор, – то к концу нашего путешествия мы, пожалуй, останемся без хлеба.

– Вам остаться без хлеба! – с живостью воскликнул Иосиф. – Да я лучше стану просить милостыню у прохожих, за медяки кувыркаться на площадях... и не знаю, что еще! Нет! Нет! Со мной вы ни в чем не будете нуждаться! – И, видя, что его жар несколько удивляет Консуэло, он прибавил, стараясь умалить свои пылкие чувства: – Подумайте только, *синьор Бертони*, ведь вся моя будущность зависит от вас, судьба моя в ваших руках, и в моих интересах доставить вас целой и невредимой к маэстро Порпоре.

Мысль о том, что ее спутник может внезапно в нее влюбиться, даже не возникала у Консуэло; целомудренным и простодушным женщинам редко приходят в голову такие предположения, появляющиеся зато у кокеток при каждой новой встрече, – быть может, потому, что те сами стремятся вызвать подобные чувства. Кроме того, очень молодая женщина обычно смотрит на мужчину своего возраста как на мальчика. Консуэло была на два года старше Гайдна, а он был так мал и тщедушен, что ему с трудом можно было дать лет пятнадцать. Она прекрасно знала, что на самом деле он старше, но ей на ум не приходило, что его воображение и чувства уже пробудились для любви. Однако, остановившись передохнуть и полюбоваться чудесным видом, какие встречаются на каждом шагу в этой горной местности, она заметила, что Иосиф смотрит на нее в каком-то экстазе.

– Что с вами, друг Беппо? – наивно спросила она. – Вы как будто чем-то встревожены, и я не могу отделаться от мысли, что я вас стесняю.

– Не говорите так! – горестно воскликнул он. – Неужели вы такого плохого мнения обо мне и отказываете мне в доверии и дружбе, за которые я охотно отдал бы жизнь.

– В таком случае не грустите, если только у вас нет иного повода к печали, которым вы не поделились со мной.

Иосиф впал в мрачное молчание; они шли, а он все не находил в себе силы прервать его. И чем дольше длилось это молчание, тем все в большее и большее смущение приходил юноша: он боялся, что тайна его будет разгадана, но никак не мог найти темы для возобновления разговора. Наконец, сделав над собой огромное усилие, он проговорил:

– Знаете, о чем я серьезно подумываю?

– Нет, не догадываюсь, – ответила Консуэло; все это время она была погружена в собственные мысли и не находила ничего странного в его молчании.

– Я шел и думал: вот бы хорошо поучиться у вас итальянскому языку, если только это не будет вам в тягость. Прошлой зимой я начал изучать этот язык по книгам, но так как никто не занимался со мной произношением, то я не смею выговорить при вас ни слова. Между тем я понимаю все, что читаю, и если бы во время нашего путешествия вы были бы так добры и заставили меня стряхнуть ложный стыд, поправляя меня на каждом слове, мне кажется, что при моем музыкальном слухе труд ваш не пропал бы даром.

– О! С огромным удовольствием! – воскликнула Консуэло. – Мне нравится, когда люди не теряют в жизни ни одной минуты, чтобы научиться чему-либо, а так как, уча, учишься, то нам обоим будет очень полезно поупражняться в произношении этого в высшей степени музыкального языка. Вы считаете меня итальянкой, но на самом деле это не так, хотя я и говорю по-итальянски почти без акцента. По-настоящему же хорошее произношение у меня только в пении. И когда мне захочется донести до вас всю гармонию итальянских звуков, я буду петь трудные слова. Убеждена, что плохое произношение лишь у тех, кто не имеет слуха. Если ухо ваше в совершенстве улавливает оттенки, то вам останется только запомнить их, чтобы правильно повторять.

– Значит, это будет одновременно и урок итальянского языка и урок пения! – воскликнул Иосиф.

«И урок, который будет длиться целых пятьдесят лье! – с восторгом подумал он. – Если так – да здравствует искусство, наименее опасное и наименее неблагодарное из всех страстей!»

Урок начался тотчас же, и Консуэло, которая сперва с трудом удерживала смех всякий раз, как Иосиф произносил что-нибудь по-итальянски, вскоре стала восхищаться легкостью и тщательностью, с какими он исправлял свои ошибки. Между тем юный музыкант, страстно желая услышать голос знаменитой певицы и видя, что повода к этому все не появляется, пустился на маленькую хитрость. Притворившись, будто ему не удастся придать итальянскому «а» должную ясность и четкость, он пропел мелодию Лео, где слово «felicita»² повторялось несколько раз. Консуэло тотчас же, не останавливаясь и продолжая дышать так же ровно, как если бы сидела у себя за клавишином, пропела эту фразу несколько раз подряд. При звуке ее голоса, такого сильного, такого проникающего в душу, с которым не мог сравниться ни один голос того времени, дрожь пробежала по телу Иосифа, и он с возгласом восторга судорожно сжал руки.

– Теперь ваш черед, попробуйте! – проговорила Консуэло, не замечая его возбужденного состояния.

Гайдн пропел фразу, да так хорошо, что его юный профессор захлопал в ладоши.

– Превосходно! – сказала ему Консуэло искренним, сердечным тоном. – Вы быстро усваиваете, и голос у вас чудесный.

– Можете говорить обо мне все что угодно, но сам я никогда не смогу вымолвить о вас ни единого слова.

– Да почему же? – спросила Консуэло.

Тут, повернувшись к нему, она заметила, что глаза его полны слез и он все еще сжимает руки, хрустя суставами, как шаловливый ребенок или страстно увлеченный мужчина.

– Давайте прекратим пение, – сказала она, – вон навстречу нам едут всадники.

– Ах, боже мой! Да, да! Молчите! – воскликнул вне себя Иосиф. – Только бы они вас не услышали, а то сейчас спрыгнут с коней и падут ниц перед вами!

– Ну, этих страстных любителей музыки я не боюсь – это мясники, которые везут с собой телячьи туши.

² Счастье (лат.).

– Ах! Надвиньте ниже шляпу, отвернитесь! – ревниво вскричал Иосиф, подходя к ней еще ближе. – Пусть они вас не видят, пусть они вас не слышат! Пусть никто, кроме меня, не видит и не слышит вас!

Остаток дня прошел то в серьезных занятиях, то в ребяческой болтовне. Упоительная радость заливала взволнованную душу Иосифа, и он никак не мог решить, кто же он – самый ли робкий из поклонников красоты или самый пылкий из друзей искусства. Консуэло, казавшаяся ему то лучезарным кумиром, то чудесным товарищем, заполняла всю его жизнь, преображала все его существо. Под вечер он заметил, что она едва плетется и что усталость взяла верх над ее веселым нравом. Невзирая на частые привалы под тенью придорожных деревьев, она вот уже несколько часов чувствовала себя совсем разбитой. Но именно этого она и добивалась, и даже если бы ей не надо было как можно скорей покинуть этот край, она и тогда стремилась бы усиленным движением, напускной веселостью отвлечься от своих душевных мук. Первые вечерние тени, навевая грусть на окружающую природу, вновь пробудили в душе Консуэло мучительные чувства, с которыми она так мужественно боролась. Ей рисовался мрачный вечер в замке Исполинов и предстоящая ночь, быть может, ужасная для Альберта. Подавленная такими мыслями, она невольно остановилась у подножия большого деревянного креста, отмечавшего на вершине голого холма место свершения какого-либо чуда или злодейства, память о котором сохранило предание.

– Увы! Вы гораздо больше устали, чем хотите в этом сознаться, – сказал ей Иосиф. – Но наш путь близится к концу: я уже вижу там, в глубине ущелья, огоньки какой-то деревушки. Вы, пожалуй, думаете, что у меня не хватит сил понести вас, а между тем, если б вы только пожелали...

– Дитя мое, – улыбаясь, ответила она ему, – вы уж очень гордитесь тем, что вы мужчина. Пожалуйста, не презирайте так сильно мой пол и поверьте – сейчас у меня больше сил, чем осталось у вас для самого себя. Я запыхалась, взбираясь по этой тропинке, вот и все, а если я остановилась, то потому лишь, что мне захотелось петь.

– Слава богу! – воскликнул Иосиф. – Пойте же здесь, у подножия креста, а я стану на колени... Ну, а если пение еще больше утомит вас?..

– Это будет недолго, – сказала Консуэло, – у меня явилась фантазия пропеть здесь одну строфу из гимна, который я пела с матерью утром и вечером, когда нам попадалась на пути часовня или крест, водруженный, как вот этот, на перекрестке четырех дорог.

Однако истинная причина, побуждавшая Консуэло запеть, была еще романтичнее. Думая об Альберте, она вспомнила о его почти сверхъестественной способности видеть и слышать на расстоянии. Она живо вообразила себе, что в эту самую минуту он думает о ней, а быть может, даже видит ее. И, полагая, что сможет облегчить его муку, общаясь с ним через пространство и ночь, словами заветной песни, Консуэло взобралась на камни, служившие основанием кресту, и, повернувшись в ту сторону, где должен был находиться замок Исполинов, полным голосом запела стих из испанского духовного гимна: «О, consuelo de mi alma...»

«Боже мой, боже мой! – сказал себе Гайдн, когда она умолкла. – До сих пор я не слышал пения, я не знал, что значит петь! Неужели существуют другие человеческие голоса, подобные этому? Услышу ли я когда-нибудь что-либо равное тому, что открылось мне сегодня? О музыка! Святая музыка! О гений искусства! Как ты воспламеняешь меня и как устрашаешь!»

Консуэло спустилась с камня, на котором она, словно мадонна, стояла, выделяясь стройным силуэтом в прозрачной синеве ночи. В порыве вдохновения она, в свою очередь, подобно Альберту, вообразила, что сквозь леса, горы и долины видит его сидящим на скале Ужаса, спокойным, покорным, преисполненным святой надежды. «Он слышал меня, – подумала она, – узнал мой голос и свою любимую песню; он понял меня и теперь вернется в замок, поцелует отца и, быть может, спокойно уснет».

– Все хорошо, – сказала она Иосифу, не замечая его неистового восторга.

Потом, обернувшись, она прикоснулась губами к грубому дереву креста. Быть может, в этот самый миг Альберт, в силу странного непонятого совпадения, ощутил как бы удар электрического тока, разрядивший напряженность его мрачной воли и внесший в самые таинственные глубины его души блаженное умиротворение. Возможно, что именно в этот миг он впал в тот глубокий, благотворный сон, в котором и застал его, к своей великой радости, встревоженный отец на рассвете следующего дня.

Селение, чьи огоньки наши путники заметили в темноте, в действительности оказалось обширной фермой, где их гостеприимно встретили. Семья добрых землепашцев ужинала под открытым небом, у порога своего дома, за грубым деревянным столом, куда их усадили со спокойным радушием. Их ни о чем не спрашивали, на них едва взглянули. Эти славные люди, утомленные долгим и знойным рабочим днем, ели молча, наслаждаясь простой, обильной пищей. Консуэло нашла ужин превосходным, а Иосиф забывал о еде, глядя на бледное, благородное лицо Консуэло, выделявшееся среди крупных, загорелых крестьянских лиц, таких же кротких и тупых, как морды волов, что паслись на траве вокруг них и, медленно пережевывая жвачку, работали челюстями с не меньшим шумом, чем их хозяева.

Каждый из сотрапезников, насытившись и сотворив крестное знамение, уходил спать, предоставляя более крепким предаваться застольным радостям, сколько им заблагорассудится. Как только мужчины встали из-за стола, ужинать сели прислуживавшие им женщины вместе с детьми. Более живые и любопытные, они задержали юных путешественников и засыпали их вопросами. Иосиф взял на себя труд рассказать им заранее заготовленные на такой случай басни, которые, в сущности, не так далеки были от истины: он выдавал себя и своего товарища за бедных странствующих музыкантов.

– Какая жалость, что сегодня не воскресенье, – заметила одна из самых молоденьких девушек, – мы поплясали бы под вашу музыку.

Женщины заглядывались на Консуэло, принимая ее за красавца юношу, а та, чтобы получше сыграть свою роль, кидала на них смелые, вызывающие взгляды. Вначале она было вздохнула, представив себе всю прелесть этих патриархальных нравов, столь далеких от ее беспокойной бродячей жизни. Но, увидев, как бедные женщины, стоя позади мужей, почтительно прислуживают им, а затем весело доедают остатки, одни – кормя грудью малюток, другие, словно прирожденные рабыни, улажая своих сыновей-мальчуганов, заботясь прежде всего о них, а потом уже о дочерях и о себе, она поняла, что эти добрые земледельцы всего лишь рабы голода и нужды: самцы – прикованные к земле, плугу и скотине батраки, а самки – прикованные к хозяину, то есть к мужчине, затворницы, вечные служанки, обреченные трудиться без отдыха среди тягот и мук материнства. С одной стороны, над ними стоит владелец земли, угнетающий или грабящий работника, не оставляя ему даже самого необходимого из плодов его тяжелого труда; с другой – скупость и страх, передающиеся от хозяина к арендатору, обрекающие последнего сурово и скаречно относиться к собственной семье и собственным нуждам. И тут это мнимое благополучие стало казаться Консуэло лишь следствием отупения от невзгод или оцепенения от усталости; и она сказала себе, что лучше быть артистом или бродягой, чем хозяином или крестьянином, ибо обладание землей, так же как и снопом ржи, связано либо с несправедливой тиранией, либо с мрачной, все подавляющей алчностью.

– Viva la liberta!³ – сказала она Иосифу по-итальянски, в то время как женщины шумно мыли и убрали посуду, а немощная старуха размеренно, как машина, вертела колесо прялки.

К своему удивлению, Иосиф услышал, что некоторые крестьянки кое-как болтают по-немецки. Он узнал от них, что глава семьи, которого он видел в одежде землепашца, дворянин по происхождению, что он в молодости обладал небольшим состоянием и получил кое-какое образование, но война за австрийское наследство совершенно его разорила и, не видя

³ Да здравствует свобода! (*ит.*)

другого выхода, чтобы поднять свое многочисленное семейство, он стал фермером соседнего аббатства. Это аббатство страшно обирало его, он только что выплатил сбор за митру – то есть налог, взимаемый имперской казной с религиозных общин при каждой смене епископа. Фактически этот налог уплачивали ленники и арендаторы церковных владений сверх собственных повинностей и мелких поборов. Работники, трудившиеся на ферме, были крепостными, но отнюдь не считали себя более несчастными, чем их хозяин. Коронным откупщиком был еврей. Из аббатства, которое он донимал, его отсылали к землепашцам, которых он донимал еще больше, и как раз этим утром он потребовал и получил от фермера сумму, составлявшую сбережения последнего за несколько лет. Притесняемый и католическими священниками, и лихоимцами-евреями, бедняга не знал, кого из них больше ненавидеть и бояться.

– Видите, Иосиф, – сказала Консуэло своему товарищу, – не была ли я права, когда говорила, что мы одни с вами богаты в этом мире? Мы не платим налогов за свои голоса и работаем лишь тогда, когда нам вздумается.

Настало время ложиться спать. Консуэло была до того утомлена, что заснула на скамейке у входа. Иосиф воспользовался этой минутой и попросил хозяйку предоставить им кровати.

– Кровати, мой милый? – воскликнула она улыбаясь. – Хорошо, если мы сможем дать вам хоть одну, а вы уж как-нибудь устройтесь на ней вдвоем.

Этот ответ заставил бедного Иосифа покраснеть. Он взглянул на Консуэло, но, увидев, что она ничего не слыхала, преодолел свое смущение.

– Мой товарищ очень устал, и если вы сможете уступить ему хоть какую-нибудь кровать, мы за нее заплатим, сколько вы пожелаете. Мне же довольно угла в риге или в коровнике.

– Ну, если этому мальчику нездоровится, то мы по доброте своей дадим ему кровать в общей комнате – три наших дочки улягутся на одной. Только скажите вашему товарищу, чтобы он вел себя смирно и прилично, а то мой муж и зять спят в той же комнате и быстро сумеют его образумить.

– Я отвечаю за скромность и порядочность моего товарища, только надо узнать, не предпочтет ли он спать на сене, нежели в комнате, где так много народу.

Бедному Иосифу поневоле пришлось разбудить синьора Бертони, чтобы сообщить ему о предложении хозяйки. Против его ожидания Консуэло вовсе не испугалась. Она нашла, что раз девушки спят в одной комнате с отцом и зятем, то ей будет там безопаснее, чем где-либо в другом месте, и, пожелав Иосифу покойной ночи, она проскользнула за четыре коричневые шерстяные занавески, скрывавшие указанную ей кровать, а там, едва успев раздеться, заснула крепчайшим сном.

LXVIII

Проспав несколько часов в тяжелом оцепенении, Консуэло проснулась от какого-то непрерывного шума. С одной стороны старуха бабушка, чья кровать почти касалась ее кровати, надрылась от пронзительного, раздражающего грудь кашля; с другой – молодая женщина кормила грудью ребенка и убаюкивала его пением; храп мужчин напоминал звериное рычание; маленький мальчик плакал, ссорясь со своими тремя братьями, лежавшими на одной с ним постели; женщины поднялись, чтобы утихомирить их, и своими уговорами и угрозами надевали еще больше шума. Это непрерывное движение, детские крики, грязь, вонь, душливый воздух, наполненный густыми, смрадными испарениями, стали до того противны Консуэло, что терпеть дольше она была не в силах. Одевшись потихоньку, она воспользовалась минутой, когда все угомонились, выскользнула из дома и принялась отыскивать уголок, где могла бы поспать до утра: ей казалось, что она лучше заснет на свежем воздухе. Всю прошлую ночь она шагала по дорогам и потому не заметила холода; к тому же теперь она была в подавленном состоянии, сменившем то возбуждение, в котором убежала из замка, да и самый климат этого горного края был гораздо суровее, чем в окрестностях замка Исполинов. Консуэло почувствовала озноб и ужасное недомогание. Со страхом стала она думать о том, что если с самого начала ей так плохо, то, пожалуй, она не сможет вынести предстоящих ей пеших переходов и бессонных ночей. Хоть она и упрекала себя в том, что стала «принцессой», привыкнув к беззаботной жизни в замке, но в этот миг за час хорошего сна она готова была бы отдать остаток жизни.

Не смея вернуться в дом из боязни разбудить и потревожить хозяев, она принялась разыскивать вход в какой-нибудь сарай, наткнулась на полуоткрытую дверь коровника и ощупью пробралась в него. Там царила глубочайшая тишина. Считая помещение пустым, Консуэло растянулась в яслях, полных соломы, теплота и здоровый запах которой показались ей восхитительными.

Она начинала уже засыпать, как вдруг почувствовала на лбу чье-то горячее, влажное дыхание, потом оно исчезло, затем послышалось громкое сопение и какое-то сдавленное ворчание. Когда прошел первый испуг, Консуэло разглядела в предраассветных сумерках длинную фигуру с двумя огромными рогами над головой – то была красавица корова, которая, просунув морду в ясли и удивленно обнюхав девушку, со страхом отшатнулась. Консуэло забилась подальше в угол, чтобы не мешать животному, и преспокойно заснула. Ухо ее скоро привыкло ко всем звукам коровника: к лязгу цепей, задевающих о кольца, к мычанию коров, к трению рогов о перекладыны ясель. Она не проснулась даже, когда работницы пришли выгонять коров во двор, чтобы на открытом воздухе подоить их. Коровник опустел. В углу, куда забилась Консуэло, было так темно, что ее не заметили, и солнце уже встало, когда она открыла глаза. Утопая в соломе, Консуэло еще несколько минут наслаждалась блаженным покоем и радовалась, чувствуя себя отдохнувшей и окрепшей, готовой снова легко и беззаботно пуститься в путь.

Первое, что она увидела, выскочив из яслей, чтобы разыскать Иосифа, был он сам, сидящий на краю ясель напротив.

– Вы причинили мне немало беспокойства, милый синьор Бертони, – сказал он. – Когда девушки сообщили мне, что вас нет в комнате и они не знают, куда вы девались, я принялся повсюду вас искать и, только вернувшись в отчаянии сюда, где провел ночь, я, к своему великому удивлению, увидел вас. Я выбрался отсюда в предраассветной мгле и не воображал, что найду вас тут, прямо напротив себя, в куче соломы, под носом у этих животных, которые могли вас поранить. Право, синьора, вы слишком отважны и совсем не думаете об опасностях, которым себя подвергаете.

– Какие опасности, милый мой Беппо? – с улыбкой спросила Консуэло, протягивая ему руку. – Эти славные коровы не такие уж свирепые животные, и я причинила им больше страха, чем они могли бы причинить мне вреда.

– Но, синьора, – понизив голос, возразил Иосиф, – вы среди ночи забираетесь в первое попавшееся помещение. Другие люди, кроме меня, могли быть в этом коровнике – какой-нибудь грубый батрак или бродяга, менее почтительный, чем ваш верный и преданный Беппо. Что, если бы вместо тех яслей, где вы спали, вы попали в соседние и в них вместо меня разбудили бы какого-нибудь солдата или мужлана!

Консуэло покраснела при мысли, что спала так близко от Иосифа и совершенно наедине с ним в потемках, но это смущение только усилило ее доверие и дружбу к славному юноше.

– Видите, Иосиф, – промолвила она, – небо не покидает меня и в моем безрассудстве, раз оно привело меня к вам. Это оно вчера утром послало мне встречу с вами у источника, когда вы предложили мне свой хлеб, свое доверие и свою дружбу. Оно же этой ночью отдало под вашу братскую защиту мой беспечный сон.

Тут она со смехом рассказала ему, как скверно провела ночь в общей комнате с шумной семьей фермера и как хорошо и покойно чувствовала себя среди коров.

– Значит, правда, – заметил Иосиф, – что у скота и жилье лучше и нравы мягче, чем у человека, который за ним ухаживает.

– Так думала и я, засыпая в яслях. Эти животные не возбудили во мне ни страха, ни отвращения, и я упрекала себя за то, что привыкла к роскоши и теперь общество мне подобных и соприкосновение с нуждой стали для меня невыносимы. Почему это, Иосиф? Тот, кто рожден в нищете, не должен бы, встретившись с ней снова, чувствовать то презрительное отвращение, которому я поддалась. Ведь сердце мое не развратилось в атмосфере богатства, откуда же эта изнеженность, которая понудила меня сегодня ночью сбежать от зловония и жары, суетни и гомона этого жалкого человеческого выводка?

– Да потому, что опрятность, чистый воздух и порядок в доме – законная и настоящая потребность всех избранных натур, – ответил Иосиф. – Кто рожден артистом, тому свойственно чувство прекрасного, доброго и неприязнь ко всему грубому, безобразному. А нищета безобразна. Я тоже крестьянин, и родители произвели меня на свет под соломенной крышей, но они были врожденные артисты. В нашем скромном домике царили чистота и порядок. Правда, наша бедность приближалась к довольству, тогда как крайняя нужда, быть может, заглушает все, даже самое стремление к чему-то лучшему.

– Несчастные люди! – проговорила Консуэло. – Будь я богата, сейчас бы выстроила им дом, а если бы была королевой, то избавила бы их от всех налогов, всех монахов и всех евреев, которые их разоряют.

– Будь вы богаты, вы и не подумали бы об этом, а родясь королевой, не захотели бы этого. Так уж устроен мир.

– Значит, мир устроен очень плохо.

– К несчастью, да! И без музыки, уносящей душу в мир совершенства, человеку, сознающему скудость земной юдоли, пришлось бы убить себя.

– Убить себя легко, но это пойдет на пользу только самоубийце. Нет, Иосиф, нужно и богатому оставаться человеческим.

– А так как это, по-видимому, невозможно, то следовало бы, по крайней мере, всем беднякам стать артистами.

– Совсем неплохая мысль, Иосиф! Если бы все несчастные понимали и любили искусство настолько, что смогли бы опоэтизировать страдания и украсить нищету, тогда сами собой исчезли бы грязь, отчаяние, самоуничтожение, и богачи не позволяли бы себе так попирать ногами и презирать бедняков. Ведь к артистам всегда чувствуют некоторое уважение.

– Ах! Вы впервые заставляете меня над этим задуматься! – воскликнул Гайдн. – Стало быть, искусство может иметь очень серьезные, очень важные для человечества цели?..

– А вы думали до сих пор, что оно является только развлечением?

– Нет, я думал, что это болезнь, страсть, гроза, бушующая в сердце, пламя, загорающееся в нас и переходящее от нас к другим... Если вы знаете, что такое искусство, скажите мне...

– Скажу тогда, когда это мне самой станет ясно. Но можете не сомневаться, Иосиф: искусство – это нечто великое. А теперь идем. И смотрите не забудьте скрипку: она ваше единственное достояние, друг Беппо, источник вашего будущего богатства.

Они начали с того, что запаслись провизией для скромного завтрака, решив насладиться им на травке в каком-нибудь романтическом уголке. Но когда Иосиф вытащил кошелек, чтобы расплатиться, хозяйка улыбнулась и сдержанно, однако решительно отказалась от денег. Как ни уговаривала ее Консуэло, та была непреклонна и даже следила, как бы ее юные гости не сунули потихоньку детям какой-нибудь монетки.

– Не забывайте, – сказала она наконец с некоторым высокомерием Иосифу, продолжавшему настаивать, – что мой муж дворянского рода и, поверьте, несчастье не унизило его до того, чтобы брать деньги за оказанное гостеприимство.

– Такая гордость кажется мне несколько преувеличенной, – заметил Иосиф своей спутнице, когда они вышли на дорогу, – у этих людей, пожалуй, больше спеси, чем доброты.

– А я вижу в них одну доброту, – ответила Консуэло, – и мне очень грустно и стыдно при мысли, что я, видите ли, не смогла примириться с неудобствами дома, где не побоялись обременить и унижить себя присутствием такого бродяги, как я. Ах ты, проклятая разборчивость! Дурацкая изнеженность баловней жизни! Ты недуг, ибо даешь здоровье одним в ущерб другим!

– Вы слишком большая артистка, чтобы так близко принимать к сердцу все земное, – проговорил Иосиф. – Мне кажется, что артист должен относиться хладнокровнее и безразличнее ко всему, что не имеет отношения к его искусству. В трактире в Клатау, где я услышал о вас и о замке Исполинов, говорили, что граф Альберт Рудольштадт, при всех своих странностях, большой философ. Вы почувствовали, синьора, что нельзя одновременно быть артистом и философом – вот почему вы и обратились в бегство. Не принимайте же так близко к сердцу человеческие страдания, и давайте вернемся к нашим вчерашним занятиям.

– Охотно, Беппо, но, прежде чем начать, знайте, что граф Альберт хотя и философ, но еще более великий артист, чем мы с вами.

– Правда? Значит, у него есть все, чтобы быть любимым? – вздохнув, проговорил Иосиф.

– Все, на мой взгляд, кроме бедности и низкого происхождения, – ответила Консуэло.

Незаметно для себя, подкупленная вниманием Иосифа, побуждаемая его наивными вопросами, которые он задавал дрожащим голосом, она увлеклась и с удовольствием долго рассказывала ему о своем женихе. Каждый ответ ее неминуемо требовал объяснения, и так, переходя от одной подробности к другой, она постепенно поведала ему о всех особенностях чувства, внушенного ей Альбертом. Быть может, такая полная откровенность с юношей, с которым она познакомилась лишь накануне, была бы неуместна при всяких других условиях, и только столь странное стечение обстоятельств могло вызвать подобное доверие. Как бы то ни было, Консуэло поддалась непреодолимой потребности припомнить все достоинства своего жениха и поверить их дружескому сердцу. И, рассказывая, она с такой же радостью, с какой пробуют свои силы после тяжелой болезни, почувствовала, что любит Альберта больше, чем думала, когда обещала ему приложить все старания, чтобы любить только его одного. По мере того как она удалялась от Альберта, Консуэло могла без страха давать волю своему воображению, и теперь, когда ее уже не пугала необходимость принять слишком скоро бесповоротное решение, все, что было в характере Альберта прекрасного, благородного, достойного, представало перед ней в более ярком свете. Гордость Консуэло не страдала больше при мысли о том,

что ее могут обвинить в честолюбии. Раз она бежала, тем самым как бы отказываясь от земных благ, связанных с этим браком, она могла, не стесняясь и не краснея, отдаться чувству, владеющему ее душой. Имя Андзолето ни разу не сорвалось с ее языка, и она с радостью заметила, что ей даже в голову не пришло упомянуть о нем, когда она рассказывала Иосифу о своем пребывании в Чехии.

Излияния эти, быть может, неуместные и безрассудные, оказались чрезвычайно полезными. Иосиф понял, насколько Консуэло в сердце своем серьезно предана другому, и смутные надежды, невольно зародившиеся в нем, рассеялись как сны, – юноша постарался заглушить в себе даже самое воспоминание о них. После одного или двух часов молчания, наступившего вслед за оживленной беседой, Иосиф твердо решил не видеть впредь в Консуэло ни очаровательной сирены, ни опасного, загадочного товарища, а только великую артистку и благородную женщину, чья дружба и советы могли самым благотворным образом повлиять на всю его жизнь.

Желая ответить откровенностью на откровенность, а также стремясь создать двойную преграду собственным пылким чувствам, он открыл ей свою душу и рассказал, что также не свободен и даже, можно сказать, считается женихом. Роман Гайдна был не столь поэтичен, как роман Консуэло, но тому, кто знает его завершение, известно, что он был не менее чист и не менее благороден. Юноша питал дружеские чувства к дочери своего великодушного хозяина, парикмахера Келлера, и тот, видя их невинную взаимную привязанность, сказал ему однажды:

– Иосиф, я доверяю тебе. Ты, кажется, любишь мою дочь, и она, вижу, равнодушна к тебе. Если ты так же честен, как трудолюбив и признателен, то, став на ноги, будешь моим зятем.

Преисполненный горячей благодарности, Иосиф дал слово, поклялся хранить верность и, хотя несколько не был влюблен в свою невесту, считал себя связанным на всю жизнь.

Рассказывал он об этом с грустью, которую был не в силах победить, сравнивая свое истинное положение с упоительными мечтами, от которых ему приходилось отказаться. Консуэло же увидела в этой грусти признак глубокой, непреодолимой любви его к дочери Келлера. Гайдн не посмел разубеждать Консуэло, а ее уважение, ее уверенность в порядочности и чистоте Беппо только выросли благодаря его признанию.

Итак, их путешествие не было омрачено ни одной из тех опасных вспышек, каких можно ожидать, когда юноша и девушка, милые, умные и питающие друг к другу симпатию, отправляются в двухнедельное странствование в условиях полной свободы. Хотя Иосиф и не любил дочери Келлера, он не стал разубеждать Консуэло, которая принимала его верность данному слову за верность любящего сердца, и хотя подчас в груди его и бушевала буря, он так хорошо умел с нею справляться, что целомудренная его спутница, покоясь в чаще леса на ложе из вереска, в то время как он охранял ее сон, точно верный пес, или шагая с ним рядом по пустынной местности, вдали от человеческого взора, неоднократно ночуя с ним то в риге, то в пещере, ни разу не заподозрила ни его внутренней борьбы, ни величия его победы над собой. Когда в старости Гайдн прочел первые книги «Исповеди» Жан-Жака Руссо, он улыбнулся сквозь слезы, вспомнив свое путешествие с Консуэло по Богемскому лесу, где спутниками их были робкая любовь и благоговейное целомудрие.

Но однажды добродетель юного музыканта все же подверглась тяжкому испытанию. Когда погода была хорошей, дорога легкой и луна ярко светила, они шли ночью, избирая этот наилучший и самый надежный способ пешего путешествия, избавлявший их от риска набрести на неудачный ночлег; а днем они делали привал в каком-нибудь тихом, укромном местечке, где и проводили время, высыпаясь, обедая, болтая и занимаясь музыкой. Как только с наступлением вечера начинало тянуть холодком, они, поужинав и собрав вещи, пускались в путь и шли до рассвета. Таким образом они избегали утомительной ходьбы в жару, любопытных взоров, грязи постоянных дворов и траты денег. Но когда дождь, зачистивший в возвышенной части Богемского леса, где берет свое начало Влтава, вынуждал их искать прибежища, они укыва-

лись где могли – то в хижине крестьянина, то в сарае какой-нибудь усадьбы. Они старательно избегали харчевен, хотя легче могли бы найти там приют, опасаясь неприятных встреч, грубых намеков и скандалов.

И вот однажды вечером, укрываясь от грозы, они зашли в хижину к пастуху, все гостеприимство которого проявилось в том, что он, зевая и указывая на овчарню, сказал им:

– Ступайте на сеновал.

Консуэло, по обыкновению, проскользнула в самый темный угол, а Иосиф собирался устроиться поодаль, в другом углу, как вдруг наткнулся на ноги спящего человека, который разразился грубой бранью. В ответ на его проклятия послышались другие ругательства, и Иосиф, напуганный подобной компанией, приблизился к Консуэло и схватил ее за руку, боясь, как бы кто-нибудь не лег между ними. Сначала они хотели тотчас же уйти, но дождь лил как из ведра, стуча по дощатой крыше сарая, да к тому же все снова заснуло.

– Подождем, пока пройдет дождь, – прошептал Иосиф. – Вы можете спать спокойно: я не сомкну глаз и буду рядом. Никому в голову не придет, что тут женщина. Но как только погода станет более или менее сносной, я вас разбужу, и мы выберемся отсюда.

Консуэло далеко не успокоилась, но уйти теперь было, пожалуй, еще опаснее, чем оставаться. Пастух и его гости могли обратить внимание на то, что молодые люди боятся ночевать с ними. Это возбудило бы подозрение насчет пола наших путников или наличия у них большой суммы денег, и будь это люди злонамеренные, они последовали бы за нашими путниками, чтобы напасть на них. Сообразив это, Консуэло притихла, но под влиянием вполне понятного страха продела руку под руку Иосифа с чувством глубокого доверия к его неусыпной заботливости.

Оба не спали и, когда дождь перестал, собрались уже уходить, как вдруг услышали, что их неизвестные соседи зашевелились, встали и принялись тихонько переговариваться на каком-то непонятном наречии. Подняв и взвалив на плечи тяжелый груз, они вышли, обменявшись с пастухом несколькими словами по-немецки, из которых Иосиф заключил, что они занимаются контрабандой и хозяин посвящен в их дела. Было не больше полуночи, всходила луна, и Консуэло при свете ее лучей, косо падавших в полуоткрытую дверь, уловила блеск оружия в тот момент, когда незнакомцы прятали его под плащи. Затем сарай опустел, пастух оставил ее вдвоем с Гайдном – он ушел вместе с контрабандистами, чтобы проводить их по горным тропинкам и указать переход через границу, известный, по его словам, ему одному.

– Не вздумай обмануть нас! При первом же подозрении я всажу тебе пулю в лоб, – сказал ему один из этих людей, человек с энергичным, суровым лицом.

То были последние слова, слышанные Консуэло. Гравий хрустел еще несколько минут под мерным шагом контрабандистов, затем шум соседнего ручья, вздвухшегося от ливня, заглушил удалявшийся топот ног.

– Мы напрасно боялись их, – проговорил Иосиф, не выпуская, однако ж, руки Консуэло, которую он все еще прижимал к груди, – эти люди больше нашего избегают человеческих глаз.

– Вот потому-то мы с вами и подвергались опасности, – ответила Консуэло. – Вы хорошо сделали, что, наткнувшись на них в темноте, не ответили на их ругательства; они приняли вас за одного из своих. Иначе они, пожалуй, сочли бы нас за шпионов и расправились с нами. Но теперь, слава богу, бояться нечего, наконец-то мы одни.

– Спице же, – сказал Иосиф, с сожалением чувствуя, что Консуэло отпустила его руку. – Я не засну, и с зарей мы уйдем отсюда.

Консуэло устала больше от страха, чем от ходьбы; она так привыкла спать под защитой своего друга, что сейчас же уснула. Но Иосиф, также привыкший после многих волнений засыпать подле нее, на этот раз не смог ни на минуту забыться. Рука Консуэло, целых два часа подряд дрожавшая в его руке, возбуждение, вызванное страхом и ревностью и вновь пробудившее всю силу его любви, последние слова, которые, засыпая, пробормотала Консуэло: «Наконец-то

мы одни», – все это зажгло в нем пылкую страсть. Вместо того чтобы из уважения к Консуэло уйти, по обыкновению, в глубь сарая, он, видя, что сама она не думает от него отдалиться, остался сидеть подле нее; сердце его так громко колотилось, что, не усни Консуэло, она слышала бы его удары. Все тревожило Иосифа: унылый шум ручья, стон ветра в елях, лунные лучи, пробивавшиеся сквозь щели крыши и слабо освещавшие бледное, обрамленное черными кудрями лицо Консуэло, и, наконец, то жуткое и грозное, что проникает из внешнего мира в сердце человека, когда он окружен дикой природой. Иосиф начал было успокаиваться и засыпать, как вдруг почувствовал на своей груди словно прикосновение чьих-то рук. Он вскочил и наткнулся на крошечного козленка, который прижимался к нему, чтобы согреться. Иосиф приласкал его и, сам не зная почему, принялся целовать, орошая слезами. Наконец рассвело, и, увидев более отчетливо благородное чело и серьезные, спокойные черты Консуэло, юноша устыдился своих мук. Он вышел, чтобы освежить лицо и голову в ледяных водах ручья. Ему словно хотелось очиститься от греховных мыслей, затуманивших его мозг.

Консуэло скоро присоединилась к нему и стала умываться так же весело, как проделывала это каждый день, стараясь стряхнуть с себя тяжесть сна и храбро освоиться с утренним холодом. Ее удивил расстроенный и грустный вид Гайдна.

– О! На этот раз, друг Беппо, вы хуже моего справляетесь с усталостью и волнениями: вы бледны, как эти цветочки, которые точно плачут, склонившись над водой.

– Зато вы свежи, как эти чудные дикие розы, которые будто смеются на берегах ручья, – ответил Иосиф. – С усталостью-то я умею бороться, хотя вид у меня и тщедушный, а вот волнения, синьора, я в самом деле не умею переносить.

Все утро он был грустен. Когда же они сделали привал на чудесном отлогом лугу под сенью дикого винограда, чтобы подкрепиться хлебом и орехами, Консуэло, желая выяснить причину его мрачного расположения духа, закидала его таким множеством наивных вопросов, что он не смог удержаться от соблазна поведать ей о глубоком недовольстве собой и своей судьбой.

– Ну, если уж вам так хочется знать, извольте: я думаю о том, что очень несчастен, так как с каждым днем понемногу приближаюсь к Вене, где живет моя невеста, с которой я связал себя обетом на всю жизнь, в то время как сердце мое не лежит к ней. Я не люблю и чувствую, что никогда не полюблю ее. Однако я дал слово и сдержу его.

– Да может ли это быть! – воскликнула пораженная Консуэло. – В таком случае, мой бедный Беппо, наши участи, казавшиеся мне во многом такими схожими, на самом деле совершенно различны: вы бежите к невесте, которую не любите, а я бегу от жениха, которого люблю. Странная судьба: одним она дает то, что их страшит, а у других отнимает то, что им дорого!

Говоря так, она дружески пожала ему руку, и Иосиф прекрасно понял, что слова эти были внушены ей отнюдь не зародившимися подозрениями насчет его безрассудства или желанием проучить его. Именно поэтому урок оказался особенно полезным. Консуэло сочувствовала его несчастью, горевала вместе с ним и в то же время искренним восклицанием, вырвавшимся из самой глубины ее сердца, показала, что любит другого беззаветно и непоколебимо.

То была последняя вспышка страсти у Иосифа. Он схватил скрипку и, с силой ударив по ней смычком, постарался забыть эту бурную ночь.

Когда они снова пустились в путь, он уже совсем отрешился от своей несбыточной любви и во время последующих событий испытывал к молодой девушке только самую сильную, самую преданную дружбу.

Когда Консуэло, видя Иосифа сумрачным, пыталась утешить его ласковыми словами, он говорил ей:

– Не беспокойтесь обо мне. Хотя я и обречен не любить свою жену, я буду, по крайней мере, чувствовать к ней дружбу, а дружба все-таки утешение, когда нет любви, я понимаю это лучше, чем вы можете думать.

LXIX

Гайдну никогда впоследствии не приходилось жалеть об этом путешествии и о тех душевных страданиях, с которыми ему приходилось бороться, ибо никогда за всю свою жизнь он не получал больше таких чудесных уроков итальянского языка и такого совершенного представления о музыке. Во время продолжительных привалов, в хорошую погоду, под тенистой листвой пустынного Богемского леса, наши юные артисты обнаружили друг перед другом весь свой ум, весь свой талант. Хотя у Иосифа Гайдна был прекрасный голос и он, как певчий, умел отлично владеть им, хотя он мило играл на скрипке и еще на нескольких инструментах, тем не менее, слушая пение Консуэло, он скоро понял, насколько она выше его по мастерству, понял, что и без помощи Порпоры она могла бы сделать из него хорошего певца. Но честолюбие и способности Гайдна не ограничивались этим родом искусства, и Консуэло, заметив, что он, будучи слабым певцом, так правильно и так глубоко понимает теорию, сказала ему однажды с улыбкой:

– Не знаю, хорошо ли я делаю, обучая вас пению, ведь если вы увлечетесь профессией певца, то, чего доброго, загубите в себе более высокое дарование. А ну-ка посмотрим ваше произведение! Невзирая на продолжительные и серьезные занятия контрапунктом с таким великим учителем, как Порпора, я научилась лишь хорошо понимать великие творения, а сама, даже набравшись смелости, не сумела бы создать серьезную вещь. Вы же – другое дело, и если у вас есть дар творить, вы должны идти именно по этому пути, а к пению и к игре на инструментах относиться как к средствам вспомогательным.

В самом деле, с тех пор как Гайдн встретил Консуэло, он думал только о том, чтобы сделаться певцом. Следовать за нею, жить подле нее, всюду встречаться с нею в ее бродячей жизни – вот что стало его пламенной мечтой за эти дни. Поэтому ему не хотелось показывать ей свое последнее произведение, хотя он окончил его перед отъездом в Пильзен и захватил с собой. Иосиф одинаково боялся и показаться ей посредственностью, и обнаружить талант, ибо тогда она воспротивилась бы его стремлению стать певцом. В конце концов частью охотой, частью против воли он уступил и дал вырвать у себя таинственную тетрадь. То была небольшая фортепианная соната, предназначавшаяся для его юных учеников. Консуэло начала с того, что прочитала музыку про себя, и Иосиф с изумлением увидел, что она так же хорошо понимает ее, как если бы слышала в исполнении. Затем Консуэло заставила его сыграть некоторые пассажи на скрипке и сама пропела те, что были доступны для голоса. Не знаю, предугадала ли она в Гайдне по этой безделке будущего творца «Сотворения мира»^[10] и столько других крупных произведений, но она явно почувствовала в нем большого музыканта и, возвращая ему ноты, сказала:

– Мужайся, Беппо, – ты выдающийся артист и можешь стать великим композитором, если будешь работать. У тебя, несомненно, есть творческие замыслы. А с замыслами и знаниями можно далеко пойти. Приобретай же знания, и постараемся преодолеть тяжелый характер Порпоры, – он именно тот учитель, который тебе нужен. А о сцене забудь – твое место не там. Твое оружие – перо. Ты должен не повиноваться, а приказывать. Когда можешь быть душой произведения, зачем превращаться в одно из его орудий? Так-то, будущий маэстро! Бросьте упражнять свое горло трелями и каденциями. Вам надо знать, куда их поставить, а не как исполнять. Это уж предоставьте мне, вашей покорной и подвластной вам служанке, которая претендует на первую женскую роль, какую вы сообразовали написать для меццо-сопрано.

– О, *Consuelo de mi alma!* – в восторге воскликнул окрыленный надеждами Иосиф. – Писать для вас! Быть понятым вами, переданным в вашем исполнении! Какой путь славы и честолюбивых мечтаний вы открываете передо мною! Но нет! Это грезы! Это безумие! Учите

меня петь. Я лучше постараюсь передать чужие мысли так, как чувствуете и понимаете их вы, чем вкладывать в ваши божественные уста звуки, недостойные вас!

– Ну, ну, довольно церемоний, – проговорила Консуэло, – попробуйте симпровизировать что-нибудь на скрипке или голосом так, чтобы душа трепетала на устах и на кончиках пальцев, и я узнаю, есть ли в вас искра божья или вы только ловкий ученик, бессознательно заимствующий чужое.

Гайдн повиновался. Консуэло с радостью убедилась, что музыкальное его образование не так уж велико и что в его собственных идеях много молодости, простоты и свежести. Она все больше и больше подбадривала его и с этих пор решила заниматься с ним пением лишь для того, чтобы он мог пользоваться им для своей работы.

Затем они стали забавляться исполнением маленьких итальянских дуэтов, которым она научила его и которые он быстро запомнил.

– Если до конца путешествия у нас не хватит денег, нам придется распевать на улицах, – сказала она. – Да и полиция, быть может, пожелает проверить наши таланты, приняв нас за бродяг, карманных воришек, а сколько их, несчастных, позорящих наше ремесло! Будем же готовы ко всему! Мой голос на низких, контральтовых нотах может сойти за мальчишеский. Вам же следует разучить на скрипке аккомпанемент к нескольким моим песенкам. Вы увидите, что это совсем неплохое упражнение. В таких шуточных народных куплетах много огня и самобытного чувства, а мои старинные испанские романсы – создания чистого гения, нешлифованные алмазы. Маэстро, воспользуйтесь ими! От старых идей рождаются новые!

Занятия эти были полны прелести для Гайдна. Может быть, уже тогда зародилась в нем мысль создать чудесные детские пьески, которые он впоследствии написал для театра марионеток маленьких принцев Эстергази^[11]. Консуэло вносила в свои уроки столько веселости, грации, оживления и остроумия, что к милому юноше вернулись его детская резвость и беззаботное счастье детства. Забыв любовные мечты, лишения и беспокойства, он желал одного – чтобы эти дорожные уроки никогда не кончились.

Мы не собираемся приводить здесь точный маршрут всего путешествия Консуэло и Гайдна. Малознакомые с тропами Богемского леса, мы могли бы, полагаясь лишь на свои смутные воспоминания, дать неверные сведения. Достаточно сказать, что первая половина пути, в общем, была более приятна, чем трудна, вплоть до того момента, когда случилось происшествие, которое мы не можем обойти молчанием.

Начиная от самого истока Влтавы, наши путники все время придерживались северного берега реки, так как он казался им менее людным и более живописным. В течение целого дня они шли по глубокому ущелью, полого спускавшемуся в том же направлении, что и Дунай, но, дойдя до Шенау, заметили, что горная гряда понижается, переходя в плоскогорье, и пожалели, что не пошли по противоположному берегу, вдоль другой горной гряды, которая, постепенно повышаясь, уходит в сторону Баварии. Эти лесистые горы изобиловали естественными убежищами и поэтическими уголками в гораздо большей мере, чем долины Чехии. Во время своих дневных привалов в лесу Гайдн и Консуэло забавлялись ловлей птичек силками и на клей. И когда, после полуденного сна, они находили в ловушках мелкую дичь, то тут же, под открытым небом, жарили ее на костре и находили свою стряпню великолепной. Жизнь они даровали одним лишь соловьям, на том основании, что эти певчие птички – их собратья.

Наши милые путники принялись искать брод, но никак не могли найти его: река была быстрая, сжатая крутыми берегами, глубокая и к тому же вздувшаяся от пролившихся за последние дни дождей. Наконец они наткнулись на перевоз, где у причала стояла небольшая лодка под присмотром подростка. Некоторое время они колебались, не решаясь подойти, так как видели, что несколько человек уже опередили их и уславливаются относительно переправы. Люди эти, попрощавшись друг с другом, расстались: трое собирались идти вдоль северного

берега Влтавы, а двое других вошли в лодку. Это обстоятельство заставило Консуэло принять решение.

– Пойдем ли мы направо или налево, нам все равно не избежать встречи, – сказала она Иосифу, – так уж лучше переправиться на тот берег, как мы хотели.

Гайдн все еще колебался, уверяя, что у этих людей подозрительный вид, резкий тон и грубые манеры, но тут один из них, как бы желая опровергнуть столь неблагоприятное мнение, остановил лодочника и, поманив Консуэло добродушно-шутливым жестом, обратился к ней по-немецки:

– Эй, мальчик, идите сюда, лодка не очень нагружена, и, если хотите, можете переехать с нами.

– Очень признателен вам, сударь, – ответил Гайдн, – мы воспользуемся вашим приглашением.

– Ну, дети мои, прыгайте! – продолжал тот, что первый обратился к Консуэло, – спутник называл его господином Мейером.

Иосиф, едва усевшись в лодку, заметил, что оба незнакомца очень внимательно и с большим любопытством поглядывают то на Консуэло, то на него. Но лицо господина Мейера дышало добротой и веселостью, голос у него был приятный, манеры учтивые, а седеющие волосы и отеческий вид внушали Консуэло доверие.

– Вы музыкант, дитя мое? – спросил ее господин Мейер немного спустя.

– К вашим услугам, сударь, – ответила Консуэло.

– Вы тоже? – спросил господин Мейер Иосифа и, указывая на Консуэло, прибавил: – Это, конечно, ваш брат?

– Нет, сударь, мой друг, – сказал Иосиф. – Мы даже не одной с ним национальности, и он плохо понимает по-немецки.

– Из какой же он страны? – продолжал расспрашивать господин Мейер, все поглядывая на Консуэло.

– Из Италии, сударь, – ответил опять Гайдн.

– Кто же он – венецианец, генуэзец, римлянин, неаполитанец или калабриец? – допытывался господин Мейер, с необыкновенной легкостью произнося каждое из этих названий на соответствующем диалекте.

– О сударь, вы, я вижу, можете говорить с любым итальянцем, – ответила наконец Консуэло, боясь упорным молчанием обратить на себя внимание, – я из Венеции.

– А! Чудный край! – продолжал Мейер, тотчас же переходя на родное для Консуэло наречие. – Вы давно оттуда?

– Всего полгода.

– И странствуете по свету, играя на скрипке?

– Нет, он аккомпанирует мне на скрипке, – ответила Консуэло, указывая на Иосифа, – а я пою.

– И вы не играете ни на каком инструменте? Ни на гобое, ни на флейте, ни на тамбурине?

– Нет, мне это не нужно.

– Но если вы музыкальны, вы легко научились бы играть на них, не правда ли?

– Конечно, если бы это понадобилось.

– А вы об этом не думаете?

– Нет, я предпочитаю петь.

– И вы правы, однако вам придется взяться за инструмент или хотя бы на время переменить профессию.

– Почему же, сударь?

– Да потому, что голос ваш если уже не начал, то скоро начнет ломаться: сколько вам лет – четырнадцать, пятнадцать, не больше?

– Да, около этого.

– Ну так не пройдет и года, как вы запоете лягушкой, и еще неизвестно, обратитесь ли вы снова в соловья. Для мальчика всегда опасен переход от детства к юности. Иногда бывает так: вырастет борода, а голос пропадет. На вашем месте я учился бы играть на флейте, с ней всегда заработаешь на кусок хлеба.

– Там видно будет.

– А вы, любезный, играете только на скрипке? – обратился господин Мейер к Иосифу по-немецки.

– Простите, сударь, – ответил Иосиф, который, видя, что добрый Мейер ничуть не смущает Консуэло, в свою очередь проникся к нему доверием, – я играю понемножку на нескольких инструментах.

– На каких же, к примеру?

– На клавесине, арфе, флейте – понемногу на всех, когда есть случай поучиться.

– С такими талантами вы совершенно напрасно бродите по большим дорогам – это тяжелое ремесло. Товарищу вашему, который и моложе и слабее вас, это совсем не под силу, он уже хромает.

– Вы заметили? – сказал Иосиф, тоже прекрасно видевший это, хотя спутница его и не хотела признаваться, что ноги у нее опухли и болят.

– Я хорошо видел, с каким трудом он дотащился до лодки, – сказал Мейер.

– Что подделаешь, сударь! – проговорил Гайдн, скрывая под видом философского равнодушия свое огорчение. – Родишься ведь не для одних только радостей, и когда приходится страдать – страдаешь!

– А разве нельзя жить и счастливее и приличнее, обосновавшись на одном месте? Мне грустно, что такие умные и скромные юнцы, какими вы мне кажетесь, занимаются бродяжничеством. Поверьте доброму человеку, у которого у самого есть дети и который, по всей вероятности, никогда больше не встретится с вами, дружочки мои. Такая жизнь, полная приключений, убивает и развращает человека. Запомните мои слова.

– Спасибо за добрый совет, сударь, – проговорила, приветливо улыбаясь, Консуэло, – быть может, мы им воспользуемся.

– Да услышит вас Господь, мой маленький гондольер, – сказал господин Мейер Консуэло, которая машинально, по народной венецианской привычке, схватила весло и начала грести.

Лодка, довольно далеко унесенная быстрым течением, причалила наконец к берегу. Господин Мейер дружески попрощался с молодыми музыкантами, пожелав им доброго пути, а его молчаливый товарищ не позволил им заплатить перевозчику. Вежливо поблагодарив своих спутников, Консуэло и Иосиф стали подыматься по тропинке, ведущей в горы, тогда как оба незнакомца пошли в том же направлении, но по низкому берегу реки.

– Этот господин Мейер, кажется, хороший человек, – проговорила Консуэло, в последний раз оглянувшись на него сверху, когда тот уже исчезал из виду. – Я уверена, что он прекрасный отец семейства.

– Он любопытен и болтлив, – заметил Иосиф, – и я очень рад, что вы избавились от его расспросов.

– Он разговорчив, как все много путешествовавшие люди. Судя по той легкости, с какой он владеет разными языками, этот Мейер – настоящий космополит. Откуда он может быть родом?

– Произношение у него саксонское, хотя и на нижнеавстрийском наречии он говорит очень хорошо. Мне кажется, он из Северной Германии, верно – пруссак.

– Тем хуже для него – не люблю пруссаков, а короля Фридриха^[12], после всего, что я о нем слышала в замке Исполинов, еще меньше, чем его народ.

– В таком случае вы хорошо будете чувствовать себя в Вене: у этого воинственного короля-философа там нет приверженцев ни при дворе, ни среди населения.

Беседуя таким образом, они добрались до лесной чащи и пошли тропинками, которые то терялись среди сосен, то извивались по изрезанному горному амфитеатру. Консуэло находила эти Герцинские Карпаты скорее красивыми, чем величественными. Она много раз путешествовала в Альпах и потому не приходила от окружающего в такой восторг, как Иосиф, впервые видевший столь гордые вершины. И если в юноше все вызывало восхищение, то спутница его была более склонна к задумчивости. К тому же Консуэло в тот день чувствовала большую усталость и делала огромные усилия, чтобы скрыть ее, боясь огорчить Иосифа, и без того уж чересчур беспокоившегося за нее. Они поспали несколько часов, а потом, перекусив и позанимавшись музыкой, на закате снова пустились в путь. И хотя Консуэло, словно идиллическая пастушка, подолгу омывала свои изящные ножки в кристальных струях источников, вскоре она вынуждена была признаться, что ноги ее истерзаны камнями и ночной переход ей не под силу. К несчастью, местность по эту сторону Влтавы оказалась совершенно пустынной – ни хижины, ни монастыря, ни шалаша. Иосиф пришел в отчаяние. Было слишком холодно, чтобы ночевать под открытым небом. Наконец сквозь узкий проход между двумя холмами они увидели долину и на противоположном склоне ее – огоньки. Долина эта, куда они начали спускаться, находилась уже в Баварии, но видневшийся город оказался гораздо дальше, чем они предполагали, и бедному Иосифу чудилось, что с каждым шагом город этот все более отодвигается от них. В довершение несчастья тучи обложили все небо, и вскоре зарядил мелкий холодный дождь. Дождевая завеса совсем скрыла огоньки от взоров наших странников, так что, достигнув не без труда и риска подножия горы, они не знали, в какую сторону идти. Дорога, впрочем, оказалась довольно ровной, и они продолжали, все время спускаясь, тащиться по ней, как вдруг услышали шум ехавшей навстречу кареты. Иосиф, не колеблясь, окликнул проезжающих, чтобы узнать, что это за местность и где тут можно найти приют.

– Кто там? – раздался ему в ответ грубый голос, и вслед за этим послышался звук взвонимого курка. – Прочь! Или я стреляю!

– Нас нечего бояться, – ответил Иосиф, не смущаясь, – посмотрите сами: мы двое детей и просим лишь указать нам дорогу.

– Эге! – воскликнул другой голос, в котором Консуэло сейчас же узнала голос любезного господина Мейера. – Да ведь это мои утренние сорванцы! Узнаю выговор старшего. И вы тоже тут, гондольер? – прибавил он по-венециански, обращаясь к Консуэло.

– Да, – ответила она на том же наречии. – Мы заблудились и просим вас, добрый господин, указать нам, если вы знаете, какой-нибудь приют, все равно – дворец или конюшню, где мы могли бы укрыться.

– Эх, бедные мои ребята, – ответил Мейер, – вы по меньшей мере в двух милях от какого-либо жилья. В этих горах вам не найти и собачьей конуры. Но мне жаль вас, садитесь ко мне в карету. Я могу, не стесняя себя, дать вам два места. Ну, не церемоньтесь же, влезайте!

– Вы, право, слишком добры, сударь, – сказала Консуэло, тронутая радушием этого хорошего человека, – но вы едете на север, а нам надо в Австрию.

– Нет, я еду на запад. Не больше чем через час я довезу вас до Биберека. Там вы переночуете, а завтра сможете добраться до Австрии. Это даже сократит вам путь. Ну, решайтесь же, если не хотите мокнуть под дождем и задерживать нас.

– Смелей, нечего колебаться! – шепнула Консуэло Иосифу, и они сели в карету.

Там они увидели трех человек: двое сидели спереди, причем один из них правил, а третий, господин Мейер, занимал заднее место. Консуэло забила в уголок, Иосиф сел посередине. Карета была шестиместная, просторная, прочная. Лошадь, крупная и сильная, подгоняемая энергичной рукой, снова пустилась рысью, нетерпеливо тряся головой и звеня бубенчиками упряжи.

LXX

– Что я вам говорил! – воскликнул господин Мейер, возобновляя разглагольствования, прерванные утром. – Ну может ли быть ремесло более тяжелое и неприятное, чем ваше? Когда светит солнце, все как будто прекрасно, но оно ведь не всегда светит, и ваша доля так же изменчива, как погода.

– А чья доля не изменчива и не опасна? – проговорила Консуэло. – Когда небо немилостиво, Провидение посылает на нашем пути добрых людей, так что в данную минуту нам не приходится на него жаловаться.

– У вас хорошая голова, мой дружок, – ответил Мейер, – вы из той чудной страны, где все умны; но, поверьте мне, ни ваш ум, ни прекрасный голос не помешают вам погибнуть от голода в унылых австрийских провинциях. На вашем месте я бы стал искать счастья в богатой, цивилизованной стране, под покровительством великого государя.

– Какого же? – спросила удивленная подобным намеком Консуэло.

– Да не знаю, право; их немало.

– Но разве королева Венгрии не великая монархиня? – вмешался в разговор Гайдн. – Разве в ее владениях нельзя найти покровительства?

– Ну конечно, – ответил Мейер, – но вы не знаете, что ее величество Мария-Терезия ненавидит музыку, а бродяг – еще больше, и что если вы появитесь в виде трубадуров на улицах Вены, то будете тотчас изгнаны.

В эту минуту Консуэло снова увидела невдалеке, в темной лощине близ дороги, огоньки, которые и раньше уже мелькали перед ними, и сообщила об этом Иосифу, а тот сейчас же выразил господину Мейеру желание сойти и добраться до этого жилья, более близкого, чем Биберек.

– Как! Вы принимаете это за огоньки? Это, конечно, в самом деле огни, но только они освещают не жилье, а опасные болота, где немало путешественников заблудилось и погибло. Приходилось вам когда-нибудь видеть блуждающие болотные огни?

– Да, много раз на венецианских лагунах и часто на маленьких озерах в Чехии, – ответила Консуэло.

– Так вот, дети мои, то, что вы видите там вдали, – такие же блуждающие огни.

Господин Мейер долго еще убеждал молодых людей в необходимости где-нибудь твердо обосноваться, говорил о том, как мало у них будет возможностей устроиться в Вене, не указывая, однако, места, куда он советовал бы им отправиться. Сначала Иосиф, пораженный его настойчивостью, испугался, не догадывается ли их спутник о том, что Консуэло – женщина. Но его чистосердечное обращение с ней как с мальчиком, вплоть до того, что он советовал ей, придя в возраст, поступить на военную службу, вместо того чтобы шататься по дорогам, успокоили его на этот счет, и он решил, что добрейший Мейер – один из тех ограниченных людей с навязчивыми идеями, которые повторяют целый день какую-нибудь одну, с утра пришедшую им в голову мысль. Консуэло же принимала его не то за школьного учителя, не то за лютеранского пастора, у которого в голове только одно – воспитание, нравственность и обращение ближних на путь истинный.

Через час, в полнейшей темноте, они прибыли в Биберек. Карета въехала на постоялый двор, где тотчас же два каких-то человека, отозвав Мейера в сторону, вступили с ним в разговор. Когда они вошли затем в кухню, где Консуэло с Иосифом грелись у очага и сушили одежду, юноша узнал в них тех самых двух субъектов, которые расстались с Мейером у перевоза, когда тот переправился через реку, оставив их на левом берегу Влтавы. Один из них был кривой, а у другого, хотя и имелись оба глаза, лицо от этого отнюдь не выглядело привлекательнее. Тот, кто переправился вместе с Мейером и ехал с молодыми людьми в карете, также

присоединился к ним, четвертый же не показывался. Они переговаривались на наречии, непонятном даже Консуэло, знавшей столько языков. Господин Мейер, по-видимому, пользовался среди них авторитетом и, во всяком случае, влиял на их решения, ибо после довольно оживленного совещания вполголоса он, видимо, приказал им что-то, и все удалились, за исключением одного, которого Консуэло в разговоре с Иосифом назвала «Молчальником», – того самого, что не расставался с Мейером.

Гайдн собирался скромно поужинать со своей спутницей на краешке кухонного стола, когда господин Мейер, подойдя к ним, пригласил их разделить его трапезу и так при этом добродушно настаивал, что они не решились отказаться.

Он увел их в столовую, где они попали на настоящий пир, – так, по крайней мере, показалось бедным молодым людям, лишенным подобных лакомств во время своего пятидневного, далеко не легкого странствования. Однако Консуэло была за ужином очень сдержанна: роскошный стол Мейера, подбострастное отношение к нему прислуги, большое количество вина, поглощаемого как им, так и его немым спутником, – все это начинало изменять мнение девушки о пасторских добродетелях их Амфитриона^[13]. Особенно неприятно поразили ее старания, с какими Мейер заставлял Иосифа и ее пить больше, чем того требовала жажда, и та грубая веселость, с которой он не позволял им разбавлять вино водой. С еще большим беспокойством заметила она, что Иосиф, по рассеянности или в самом деле желая восстановить силы, пил больше, чем следовало, и делался общительнее и оживленнее, чем ей того хотелось. Наконец, раздосадованная тем, что Иосиф, как ни подталкивает она его локтем, чтобы удержать от чрезмерных возлияний, не обращает на нее никакого внимания, она отняла у него стакан в тот момент, когда господин Мейер собирался снова наполнить его.

– Нет, сударь, нет! – проговорила она. – Позвольте не подражать вам! Нам это совсем не пристало.

– Странные вы музыканты! – воскликнул Мейер, смеясь все с тем же чистосердечным и беззаботным видом. – Музыканты – и не пьют! Первых таких встречаю!

– А вы, сударь, тоже музыкант? – обратился к нему Иосиф. – Ручаюсь, что да! Черт меня побери, если вы не капельмейстер при дворе какого-нибудь саксонского принца!

– Возможно, – ответил, улыбаясь, Мейер. – Вот почему, дети мои, я и чувствую к вам симпатию.

– Если сударь – большой музыкант, то разница между его талантом и талантом бедных уличных певцов слишком велика, чтобы они могли особенно интересоваться его, – возразила Консуэло.

– Среди бедных уличных певцов встречается больше талантов, чем принято думать, – сказал на это Мейер, – и много есть великих музыкантов, даже капельмейстеров при дворе первых государей мира, которые начали с того, что распевали на улицах. А если я вам скажу, что не далее как сегодня утром, между девятью и десятью часами, я слышал два прелестных голоса, исполнявших на левом берегу Влтавы красивый итальянский дуэт под прекрасный и очень умелый аккомпанемент на скрипке? Случилось это в то время, когда я завтракал с друзьями на холме. Когда же с горы стали спускаться очаровавшие меня музыканты, я был поражен, увидев двух бедных детей, одного – в одежде крестьянского мальчика, другого... очень милого, простого, но не слишком преуспевающего на вид... Не смущайтесь же и не удивляйтесь, юные друзья мои, той симпатии, которую я вам выказываю, и докажите мне свою, выпив со мной за муз, наших общих божественных покровительниц.

– О маэстро! – радостно воскликнул совсем покоренный Иосиф. – Я хочу выпить за ваше здоровье. Да, вы настоящий музыкант, раз пришли в восторг от таланта... синьора Бертони, моего друга.

– Нет, пить вы больше не будете! – сказала выведенная из терпения Консуэло, вырывая у него из рук стакан. – И я также, – прибавила она, перевернув свой вверх дном, – мы живем

только нашими голосами, господин профессор, а вино портит голос. Вы должны, значит, поощрять нашу трезвость, а не спаивать нас.

– Ну что ж, вы рассуждаете здраво, – сказал Мейер, снова ставя на середину стола графин с водой, который он спрятал было за спиной. – Да, будем беречь голос. Отлично сказано! Вы благоразумны не по годам, друг Бертони, и я рад, что, испытав вас, убедился в вашей высокой нравственности. Вы далеко пойдете! Об этом говорят и ваше благоразумие, и ваш талант. Да, вы далеко пойдете, и я хочу иметь честь и заслугу содействовать этому.

Тут мнимый профессор, отбросив всякое стеснение и говоря необычайно искренним и добрым тоном, предложил увезти их с собой в Дрезден, обещая там добиться для них уроков у знаменитого Гассе и снискать им особое покровительство польской королевы, курфюрстины Саксонской.

Принцесса эта^[14], супруга Августа III, короля Польши, была, как мы уже знаем, ученицей Порпоры. Это-то соперничество между Порпорой и Sassone⁴ из-за благоволения государыни-музыкантши и явилось первоначальной причиной их глубокой вражды. Если бы даже Консуэло и хотела искать счастья в Северной Германии, то она не выбрала бы для своего дебюта тот двор, где столкнулась бы со школой и партией, взявшей верх над ее учителем. Достаточно говорил ей об этом Порпора в минуты обиды и горечи, чтобы она, как бы ни оборачивались дела, могла уступить соблазну и последовать советам профессора Мейера.

Совершенно иначе был настроен Иосиф. Возбужденный выпитым вином и ужином, он вообразил, что встретил могущественного покровителя и вершителя своей судьбы. Он не помышлял покинуть Консуэло и следовать за этим новым другом, но, будучи немного навеселе, надеялся когда-нибудь снова встретиться с ним. Он верил в доброжелательство Мейера и горячо благодарил его. Опьяненный радостью, он схватил скрипку и прескверно заиграл на ней. Это, однако, не помешало Мейеру шумно аплодировать юноше – потому ли, что он не хотел обидеть его, обращая внимание на фальшивые ноты, или потому, думалось Консуэло, что сам был весьма посредственным музыкантом. Его искреннее заблуждение относительно пола Консуэло, хотя он слышал, как она пела, отсутствие у него тонкого развитого слуха свидетельствовало о том, что он не был преподавателем, поскольку он дал себя провести, словно какой-нибудь деревенский игрок на серпенте^[15] или учитель-трубач.

Между тем господин Мейер продолжал уговаривать молодых музыкантов ехать с ним в Дрезден. Отказываясь, Иосиф, однако, выслушивал его предложения с таким сияющим лицом и так горячо обещал явиться к нему в самом ближайшем будущем, что Консуэло сочла нужным открыть глаза Мейеру на неисполнимость подобного обещания.

– В настоящее время и думать об этом нечего, – проговорила она решительным тоном. – Вы прекрасно знаете, Иосиф, что это невозможно, ведь у нас совершенно иные планы.

Мейер возобновил свои соблазнительные предложения, но был удивлен непоколебимостью не только Консуэло, но и Иосифа, который, как только в разговор вступил синьор Бертони, снова сделался благоразумным.

Тут молчаливый путешественник, ненадолго появившийся во время ужина, позвал господина Мейера, и они оба вышли. Консуэло воспользовалась этой минутой, чтобы побранить Иосифа и за легковерие, с каким он относился к радужным обещаниям первого встречного, и за увлечение хорошим вином.

– Неужели я сказал что-нибудь лишнее? – испуганно спросил Иосиф.

– Нет, – возразила она, – но находиться так долго в компании с неизвестными людьми – это само по себе уже неосторожно. Глядя на меня, в конце концов можно заметить или хотя бы заподозрить, что я не мальчик. Как я ни старалась измазать карандашом руки и держать их по возможности под столом, вряд ли можно было не заметить, что они принадлежат женщине.

⁴ Так итальянцы прозвали Иоганна Адольфа Гассе, по происхождению саксонца. (Примеч. авт.)

К счастью, эти господа поглощены один – своей бутылкой, другой – своей болтовней. Сейчас нам было бы всего благоразумнее скрыться и отправиться ночевать на другой постоялый двор. Мне как-то не по себе с этими новыми знакомыми, которые словно преследуют нас по пятам.

– Что вы! – воскликнул Иосиф. – Уйти потихоньку, даже не попрощавшись и не поблагодарив такого хорошего человека и, быть может, знаменитого профессора? Кто знает, не беседовали ли мы с самым великим Гассе!

– Ручаюсь, что нет, и будь у вас ясная голова, вы заметили бы, как много банальных, общих суждений высказал он о музыке. Большие мастера так не рассуждают. Нет, это какой-нибудь второстепенный музыкант из оркестра, добрый малый, болтун и порядочный пьяница. Не знаю почему, но по его физиономии мне кажется, что он только и делал, что дул в медные инструменты, а его косою взгляд словно ищет капельмейстера.

– Пусть он валторнист или второй кларнетист, а все-таки он приятный собеседник! – воскликнул, покатываясь со смеху, Иосиф.

– Зато о вас этого никак нельзя сказать, – проговорила с некоторым раздражением Консуэло. – Ну, протрезвитесь же, простимся с ними и отправимся дальше.

– Дождь льет как из ведра. Слышите, как он стучит в окна?

– Надеюсь, вы не собираетесь заснуть за этим столом? – сказала Консуэло, расталкивая Иосифа, чтобы расшевелить его.

В эту минуту вернулся господин Мейер.

– Вот так история! – весело воскликнул он. – Я рассчитывал переночевать здесь и завтра выехать в Шамб, а друзья заставляют меня вернуться назад, уверяя, будто я им необходим для какого-то важного дела в Пассау. Придется уступить. И раз мне нужно отказаться от удовольствия увезти вас в Дрезден, так позвольте, дети мои, дать вам добрый совет: воспользуйтесь случаем. Я по-прежнему смогу уделить вам два места в своей карете, ибо эти господа поедут в другой. Завтра утром мы будем в Пассау – это всего в шести милях отсюда. Там я пожелаю вам доброго пути. Вы окажетесь у австрийской границы и сможете без всякого утомления за небольшую плату спуститься на судне по Дунаю до Вены.

Иосиф нашел предложение превосходным, так как это позволило бы отдохнуть израненным ногам Консуэло. Случай, в самом деле, казался благоприятным, а путешествие по Дунаю было средством, еще не приходившим им в голову. Консуэло тоже согласилась, так как видела, что Иосиф на этот раз не способен позаботиться о надежном ночлеге. Впотьмах, забившись в угол кареты, она могла не опасаться наблюдений своих спутников, а господин Мейер уверял, что в Пассау они приедут до рассвета. Иосиф был в восторге от ее решения. Однако Консуэло все-таки было не по себе, а друзья Мейера нравились ей все меньше и меньше. Она спросила, не музыканты ли его спутники.

– Все – более или менее, – лаконично ответил тот.

Кареты оказались заложенными, кучера – на своих местах, а трактирные слуги, очень довольные щедротами господина Мейера, суетились вокруг него, стараясь до последней минуты услужить ему. Когда среди всей этой суеты наступила минута затишья, Консуэло послышался стон, раздавшийся, казалось, где-то посреди двора. Она обернулась к Иосифу, но тот ничего не слышал. Стон повторился, и дрожь пробежала по ее телу. Однако никто, видимо, ничего не заметил, и она решила, что это, должно быть, заскулила собака, томившаяся на цепи. Но как ни пыталась Консуэло забыться, какое-то жуткое чувство не покидало ее. Сдавленный стон, прозвучавший среди мрака, ветра и дождя в толпе озабоченных или безучастных людей, – она даже не могла бы сказать, был то человеческий голос или игра ее воображения, – поразил ее ужасом, и сердце ее зануло. Она тотчас вспомнила Альберта и, словно проникнувшись его даром таинственного прозрения, испугалась какой-то опасности, нависшей над головой ее жениха или над ее собственной.

А карета уже мчалась. Свежая лошадь, еще более сильная, чем первая, быстро везла ее. Другая карета, ехавшая столь же быстро, то отставала, то опережала их. Иосиф опять болтал с господином Мейером, а Консуэло пыталась заснуть, притворяясь спящей, чтобы оправдать свое молчание.

Усталость в конце концов взяла верх над ее грустью и тревогой, и она заснула глубоким сном. Когда она проснулась, Иосиф тоже спал, а господин Мейер наконец-то умолк. Дождь перестал, небо прояснилось, и начало светать. Местность была совершенно незнакома Консуэло. Только время от времени вырисовывались на горизонте вершины горной цепи, похожей на Богемский лес.

По мере того как проходило ее сонное оцепенение, она все с большим удивлением замечала, что горы, которым надлежало быть слева от нее, находятся справа. Звезды уже погасли, но солнце, которое, как она полагала, должно было взойти впереди, еще не появлялось. Она решила, что горы перед ее глазами – не Богемский лес, а какие-то другие. Господин Мейер храпел, а с возницей, единственным, кто не спал в эту минуту, она заговорить не решалась.

Лошадь, взбираясь на довольно крутой косогор, пошла шагом, и колеса, погружаясь в сырой песок колеи, застучали слабее. Тут Консуэло явственно услышала тот же глухой, мучительный стон, который слышала уже на постоялом дворе в Бибереке. Голос, казалось, раздавался где-то сзади. Машинально она обернулась, но увидела только кожаную спинку кареты, на которую она опиралась. Консуэло сочла себя жертвой галлюцинации, и поскольку мысли ее постоянно возвращались к Альберту, она с ужасом подумала, что в этот миг он, наверное, умирает и что такова непостижимая сила любви этого странного человека, что до нее доносятся его страшные, душераздирающие предсмертные вздохи. Эта фантастическая мысль до того завладела ею, что ей стало дурно. Боясь совсем потерять сознание, она обратилась к вознице, когда тот остановился на половине подъема, чтобы дать лошади передохнуть, и попросила у него позволения подняться в гору пешком. Он согласился и, прыгнув сам, пошел, посвистывая, подле лошади.

Человек этот был слишком хорошо одет для простого возчика. При каком-то его движении Консуэло показалось, что у него за поясом засунуты пистолеты. Подобная предосторожность в пустынном крае, каким они проезжали, была более чем естественна; к тому же форма кареты, которую Консуэло, идя у колеса, хорошо рассмотрела, говорила о том, что она предназначена для товаров. Кузов был настолько глубок, что за спинкой сиденья, очевидно, находился ящик, вроде тех, в которых возят ценности и депеши. На этот раз карета, видимо, была не слишком загружена, раз ее свободно везла одна лошадь. Но гораздо больше поразило Консуэло то, что перед ней внезапно возникла ее тень, и, обернувшись, она увидела, что солнце уже поднялось над горизонтом, но не там, где оно взошло бы, если бы они направлялись в Пассау, а в точке прямо противоположной.

– Куда же мы едем? – спросила она возницу, поспешно подходя к нему. – Мы повернулись к Австрии спиной.

– Да, на полчаса, – весьма спокойно ответил тот, – мы возвращаемся назад, так как мост через реку, по которому нам надо ехать, разрушен и приходится делать крюк в полмили, чтобы попасть на другой.

Немного успокоившись, Консуэло села в карету и обменялась несколькими незначительными словами с господином Мейером, который проснулся было, но тотчас снова уснул. (Иосиф же спал все время, не пробуждаясь.) Так они добрались до вершины холма, и Консуэло увидела перед собой длинную, крутую и извилистую дорогу, а в глубине ущелья показалась река, о которой ей говорил возница. Но, насколько мог видеть глаз, не было никакого моста, а между тем они продолжали двигаться к северу. Встревоженная и удивленная, Консуэло больше не могла заснуть. Вскоре начался новый подъем; лошадь, по-видимому, очень устала. Все путешественники вышли из кареты, кроме Консуэло, у которой все еще болели ноги. И вот тут-то

она опять услышала стон. Он повторился несколько раз, и так ясно, что девушка уже никак не могла приписать его обману своих чувств: шел он, без всякого сомнения, из потайного ящика. Консуэло тщательно осмотрела карету и обнаружила в том углу, где все время сидел Мейер, как бы небольшой глазок, ведущий в ящик и прикрытый кожаной створкой. Консуэло попыталась открыть ее, но не смогла, так как створка оказалась запертой на ключ, находившийся, вероятно, в кармане мнимого профессора.

Консуэло, решительная и мужественная в такого рода случаях, вытащила из кармана нож с твердым и острым лезвием: она захватила его с собой, повинуюсь, быть может, голосу целомудрия и в смутном предчувствии опасностей, от которых самоубийство всегда может избавить смелую женщину. Воспользовавшись моментом, когда все путешественники ушли вперед, в том числе и возница, не опасавшийся больше, что лошадь проявит свой бойкий нрав, Консуэло быстрым уверенным движением расширила узкую щель между створкой и спинкой кареты настолько, чтобы можно было заглянуть во внутренность таинственного хранилища. Каковы же были ее удивление и ужас, когда она увидела в тесном и темном ящике, куда воздух и свет проникали лишь через проделанную вверху щель, мужчину огромного роста, окровавленного, с заткнутым ртом и туго связанными руками и ногами; он лежал, согнувшись вдвое, в страшно неудобном, мучительном положении. Лицо его, насколько можно было разглядеть, было покрыто мертвенной бледностью и, казалось, искажено предсмертной судорогой.

LXXI

Похолодев от ужаса, Консуэло выскочила из кареты, догнала Иосифа и украдкой сжала ему руку, давая понять, чтобы он отошел с ней подальше от остальных.

Когда они опередили других на несколько шагов, она чуть слышно проговорила:

– Мы погибли, если не убежим сию же минуту: люди эти – грабители и убийцы. Я только что убедилась в этом. Ускорим шаг и бежим от них куда глаза глядят. Им зачем-то нужно обманывать нас.

Иосиф подумал, что страшный сон расстроил воображение его спутницы. Он едва понимал, что она говорит. Сам чувствовал какую-то непривычную вялость, а резь в желудке указывала на то, что к выпитому накануне вину хозяин харчевни подмешал какие-то вредные и опьяняющие снадобья. Иосиф знал, что пил не настолько больше обычного, чтобы чувствовать себя таким сонным и ослабленным.

– Дорогая синьорина, – ответил он, – вы во власти какого-то кошмара, и когда я слушаю вас, кажется, я и сам поддаюсь ему. Но даже если бы эти славные люди были бандитами, как вы себе вообразили, скажите, на какую богатую добычу они могут рассчитывать, захватив нас?

– Не знаю, но мне страшно. Вот если бы вы, как я, своими глазами видели убитого человека в той самой карете, в которой мы едем...

Здесь Иосиф не мог не рассмеяться – до того это утверждение Консуэло в самом деле походило на галлюцинацию.

– Ах! Да неужели вы не замечаете и того, что они обманывают нас и везут к северу, оставляя и Пассау и Дунай позади? – с жаром продолжала она. – Посмотрите, где солнце, и обратите внимание, по какой пустыне мы едем, вместо того чтобы приближаться к большому городу!

Справедливость этих замечаний поразила наконец Иосифа, и он стал выходить из того, можно сказать, летаргического спокойствия, в какое был погружен вначале.

– Ну что ж, идемте, – сказал он, – а если они против воли захотят удержать нас, мы сразу пойдем их намерения.

– А если нам не удастся ускользнуть сейчас, то не теряйте хладнокровия, Иосиф, слышите? Нужно будет перехитрить их и улучшить другой момент.

Тут она потянула его за руку и, притворяясь, будто хромает еще сильнее, чем вынуждали ее больные ноги, устремилась вперед. Не успели они сделать и десяти шагов, как их окликнул господин Мейер, сначала дружеским тоном, затем более строго, а так как они не обращали на него внимания, вслед им полетела грубая брань остальных спутников. Иосиф оглянулся и с ужасом увидел пистолет, направленный на них бежавшим сзади возницей.

– Они убьют нас, – сказал он, замедляя шаг.

– А разве мы еще на расстоянии выстрела? – хладнокровно спросила Консуэло, увлекая его вперед и пускаясь бегом.

– Не знаю, – ответил Иосиф, стараясь остановить ее, – поверьте мне, нужный момент еще не настал. Они выстрелят в вас.

– Остановитесь, или я уложу вас на месте! – крикнул возница, догонявший их с пистолетом в вытянутой руке.

– Теперь надо брать смелостью, – сказала Консуэло, останавливаясь, – делайте, Иосиф, и говорите то же, что я.

– Эх, черт возьми, – громко воскликнула она, оборачиваясь и смеясь с апломбом хорошей актрисы, – если бы больные ноги не мешали мне бежать дальше, я показал бы вам, что над нами подшутить не удастся.

Глядя на смертельно бледного Иосифа, она притворно громко расхохоталась и, указывая приближавшимся к ним другим спутникам на его испуганную физиономию, закричала с прекрасно разыгранной веселостью:

– Он поверил! Бедный мой приятель поверил! Ах, Беппо! Я не считал тебя таким трусом. Ну, господин профессор, взгляните-ка на Беппо, он в самом деле вообразил, что в него хотят всадить пулю.

Консуэло нарочно говорила по-венциански, чтобы веселым тоном сдержать пыл парня с пистолетом, ни слова не понимавшего на этом наречии. Господин Мейер тоже притворно рассмехался. Затем, повернувшись к вознице, он сказал ему подмигивая, что прекрасно заметила Консуэло:

– Какая глупая шутка! Зачем пугать бедных детей?

– Мне хотелось узнать, насколько они храбры, – ответил тот, засовывая пистолеты за пояс.

– Увы! Господа будут о тебе неважного мнения, друг Иосиф, – лукаво проговорила Консуэло. – А вот я не испугался, отдайте мне в этом должное, *синьор Пистолет!*

– Вы молодец! – ответил Мейер. – Из вас вышел бы славный барабанщик, и вы, не сморгнув, били бы в барабан, идя на приступ и шагая во главе полка под градом картечи.

– О! Это еще неизвестно, – возразила она, – может, и испугался бы, поверь я, что этот господин вправду хочет нас убить. Но нам, венцианцам, знакомы всякие проказы, и нас не так-то легко провести.

– Все равно, это шутка дурного тона, – возразил Мейер и, обернувшись к вознице, сделал вид, что выбрал его.

Но не так-то легко было обмануть Консуэло, и по тону своих спутников она поняла, что они обсуждали происшедшее и пришли к заключению, что ошиблись, заподозрив ее в желании убежать.

Усевшись снова вместе со всеми в карету, Консуэло, смеясь, обратилась к господину Мейеру:

– Согласитесь, что ваш возница с пистолетом – чудак. Я буду теперь звать его синьор Пистолет. Однако, господин профессор, сознайтесь, что его проделка не так уж нова.

– Милая немецкая шуточка, – заметил Мейер. – В Венеции развлекаются остроумнее, не правда ли?

– А знаете, что на вашем месте, желая посмеяться над нами, проделали бы итальянцы? Они завезли бы карету за первый попавшийся придорожный куст, а сами спрятались бы. И вот мы, обернувшись и ничего не увидев, решили бы, что вас унес сам дьявол! Кто бы тогда остался в дураках? Прежде всего я, еле передвигающий ноги, да и Иосиф тоже, – он пуглив, как корова, что пасется в Богемском лесу, он подумал бы, что его бросили в этой пустыне!

Господин Мейер, смеясь над ее ребяческими выдумками, переводил все синьору Пистолету, который не менее, чем он сам, забавлялся наивностью гондольера.

– О, вы слишком хитры, мы больше не рискнем строить вам козни, – заявил Мейер.

Консуэло, заметив глубокую иронию, пробившуюся наконец сквозь веселый, отеческий тон мнимого добряка, продолжала, однако, разыгрывать простофилю, воображающего себя умником, – прием, применяемый во всех мелодрамах.

Но приключение их было спектаклем серьезным, и Консуэло, ловко ведя свою роль, чувствовала, что она словно в лихорадке. К счастью, в таком возбужденном состоянии действуют, а в подавленном – погибают.

Теперь она была настолько же весела, насколько до сих пор сдержанна, и Иосиф, уже пришедший в себя, удачно вторил ей. Притворившись, будто они нисколько не сомневаются в том, что действительно подъезжают к Пассау, молодые люди стали внимательно прислушиваться к предложению отправиться в Дрезден, которое господин Мейер не преминул возобно-

вить. Таким способом они завоевали полное его доверие и дали ему возможность подыскать предлог честно признаться в том, что он без их согласия везет их в Дрезден. И предлог скоро нашелся. Господин Мейер не был новичком в подобного рода похищениях. Произошел оживленный разговор на неизвестном языке между тремя лицами – господином Мейером, синьором Пистолетом и Молчальником. Затем они вдруг заговорили по-немецки, будто продолжая начатую беседу.

– Говорил же я вам, что мы сбились с пути! – воскликнул господин Мейер. – Спутники-то наши исчезли! Уже более двух часов, как они отстали от нас, и сколько я ни оглядывался с косогора, ничего не увидел.

– И я их не вижу, – подтвердил возница, высовываясь из кареты и с унылым видом снова садясь на место.

Консуэло еще у первого подъема прекрасно заметила исчезновение другой кареты, с которой они одновременно выехали из Биберека.

– Я так и знал, что мы заблудились, – сказал Иосиф, – но не хотел говорить об этом.

– А почему же, черт побери, вы этого не сказали? – вмешался Молчальник, делая вид, будто крайне раздражен подобным открытием.

– Да потому, что меня это забавляло, – сказал Иосиф, вдохновленный невинным коварством Консуэло. – Вот смешно – заблудиться в карете! Я думал, заблудиться можно только пешком.

– Ну что ж, это в самом деле забавно, – прибавила Консуэло. – А теперь мне бы даже хотелось, чтобы мы оказались на дрезденской дороге!

– Знай я, где мы, – возразил господин Мейер, – я бы тоже порадовался вместе с вами, дети мои. Признаюсь, мне не очень-то улыбалось ехать в Пассау для одного только удовольствия моих друзей, и если мы действительно сбились с пути, то я буду рад воспользоваться этим предлогом, чтобы не простирать дальше нашей любезности к ним.

– Право, господин профессор, – заговорил Иосиф, – поступайте как знаете, это уж ваше дело. Если мы вам не в тягость и вы по-прежнему не прочь захватить нас с собой в Дрезден, мы готовы следовать за вами хоть на край света. А ты, Бертони, что скажешь на это?

– Да скажу то же, – ответила Консуэло. – Была не была!

– Славные вы ребята! – ответил Мейер, скрывая свое удовольствие под напускной озабоченностью. – Но все-таки хотелось бы мне знать, где мы находимся.

– Где бы мы ни были, а надо сделать привал! – заявил возница. – Лошадь совсем выбилась из сил. Ведь со вчерашнего вечера она ничего не ела, а везла всю ночь. Да и все мы рады будем подкрепиться. Вот как раз лесок. Кое-что из провизии у нас еще осталось. Стой!

Въехали в лес, распрягли лошадь. Иосиф и Консуэло с готовностью предложили свои услуги, что было принято весьма благосклонно. Оглобли кареты опустили на землю, и так как при этом положение спрятанного узника стало, должно быть, еще мучительнее, до слуха Консуэло вновь донесся стон. Мейер также услышал его и пристально посмотрел на Консуэло, желая убедиться, заметила ли она что-либо. Но девушка сумела притвориться глухой и невозмутимой, хотя жалость и терзала ее сердце. Мейер обошел вокруг кареты, и удалившаяся в сторону Консуэло видела, как он открыл сзади маленькую дверцу, заглянул внутрь потайного ящика, затем закрыл ее и снова положил ключ в карман.

– Что, товар не поврежден? – крикнул Мейеру Молчальник.

– Все в порядке, – ответил тот с жестоким равнодушием и велел готовить завтрак.

– Теперь, – быстро проговорила Консуэло, проходя мимо Иосифа, – поступай как я и следуй за каждым моим шагом.

Она помогла разложить на траве провизию и откупорить бутылки. Иосиф подражал ей, представляясь страшно веселым. Господин Мейер с удовольствием глядел, как усердно прислуживают ему эти добровольные слуги. Он любил блага жизни и принялся есть и пить, так

же как и его товарищи, с еще большей жадностью и грубыми ухватками, чем накануне. Он поминутно протягивал стакан своим новоиспеченным пажам, а те поминутно то вставали, то садились, то пускались бегом в ту или другую сторону, подстерегая момент, когда можно будет сбежать окончательно, но выжидая, чтобы вино и еда сделали менее бдительными их опасных стражей. Наконец господин Мейер, растянувшись на траве, расстегнул куртку и выставил на солнце свою широкую грудь, украшенную пистолетами. Возница пошел посмотреть, хорошо ли ест лошадь, а Молчальник отправился разыскивать на илистом берегу ручья, у которого был сделан привал, подходящее место, где она могла бы напиться. Это послужило сигналом к побегу. Консуэло сделала вид, будто также разыскивает водопой. Иосиф зашел с ней поглубже в кусты, и как только они почувствовали, что скрыты густой листвой, оба пустились, как два зайца, бежать по лесу. В чаще им уже нечего было опасаться пуль. И когда они услышали, что их зовут, то были уже далеко и решили, что могут без боязни бежать вперед.

– А все же лучше ответить, – сказала, останавливаясь, Консуэло, – это рассеет их подозрения и даст нам время убежать подальше.

И Иосиф отозвался:

– Сюда, сюда! Здесь вода!

– Источник! Источник! – кричала Консуэло.

И тут, повернув под прямым углом, чтобы сбить с толку неприятеля, они понеслись, как ветер. Консуэло уже не думала о своих больных, опухших ногах, Иосиф преодолел действие наркотика, подбавленного накануне Мейером в его вино. Страх придал им крылья.

Так мчались они минут десять в направлении, противоположном взятому ими сначала, даже не прислушиваясь к голосам, звавшим их с двух сторон, и вдруг выскочили на опушку леса. Перед ними был крутой косогор, поросший густой травой и спускавшийся к проезжей дороге, а дальше – вересковая пустошь с разбросанными там и сям деревьями.

– Не будем выбираться из леса, – предложил Иосиф, – они явятся сюда и с этой высоты увидят нас, куда бы мы ни направились.

С минуту Консуэло колебалась, но, окинув быстрым взглядом окрестность, сказала Иосифу:

– Лес слишком мал, надолго мы не скроемся в нем. Впереди же дорога и надежда встретить кого-нибудь.

– Да это та самая дорога, по которой мы только что ехали! – воскликнул Иосиф. – Смотрите, она огибает холм и поднимается справа к месту, откуда мы убежали. Стоит одному из троих сесть на лошадь, и он настигнет нас прежде, чем мы успеем спуститься.

– Это еще неизвестно, – сказала Консуэло. – Под гору бежать ведь легко. А вон там на дороге кто-то едет в нашу сторону. Все дело в том, чтобы догнать его прежде, чем догонят нас. Бежим!

Некогда было терять время на размышления, и Иосиф положился на интуицию Консуэло. Вмиг спустились они с холма и едва успели добраться до первого перелеска, как услышали у опушки голоса своих преследователей. На этот раз они уже не откликнулись, а снова помчались вперед под защитой деревьев и кустарников, пока не наткнулись на ручей с крутыми берегами, которого не было видно из-за тех же деревьев. Длинная доска служила мостом через него. Беглецы перебрались по ней, а затем сбросили ее в воду.

Очувшись на другом берегу, они понеслись вдоль ручья, все время под покровом густой растительности. Не слыша больше голосов, они решили, что враги либо потеряли их след, либо, не сомневаясь больше относительно их намерений, думают, как бы захватить их врасплох. Но вскоре береговые заросли кончились, и путники остановились, боясь, что их заметят. Иосиф осторожно высунул голову из-за последних кустов и увидел одного из разбойников на страже у опушки леса, а другого (вероятно, то был синьор Пистолет, в быстроте его ног они успели убедиться) – у подножия холма, неподалеку от ручья. В то время как Иосиф

изучал расположение противника, Консуэло направилась к дороге, но почти тотчас же вернулась к своему спутнику.

– Карета, – проговорила она, – мы спасены! Надо добежать до нее раньше, чем наш враг сумеет перебраться через ручей.

Уже не остерегаясь, они устремились к дороге напрямик, по открытой местности. Карета во весь опор мчалась им навстречу.

– О боже мой! – воскликнул Иосиф. – Что, если это вторая карета, та, где едут сообщники?

– Нет, – ответила Консуэло, – это карета шестериком, с двумя форейторами и двумя кучерами. Говорю тебе, мы спасены, еще немножко мужества!

Времени терять было нельзя: синьор Пистолет нашел их следы на песке у ручья. Он обладал быстротой и силой дикого кабана. Вскоре он разыскал место, где следы исчезали и видны были сваи, на которых раньше лежала доска. Он угадал хитрость беглецов, вплавь перебрался через ручей, нашел на другом берегу отпечатки их ног и, следуя по ним, уже показался из-за кустов. Тут он увидел Консуэло с Иосифом, бегущих по вереску... но увидел также карету. Он понял их намерение, но, не имея возможности помешать ему, вернулся в кусты и стал ждать.

Крики двух молодых людей, принятых сперва за нищих, не остановили кареты. Путешественники бросили им несколько жалких монет, а форейторы, видя, что наши беглецы, вместо того, чтобы их поднять, продолжают, крича что-то, бежать у дверцы кареты, понеслись вскачь, стараясь избавить своих господ от такой назойливости. Консуэло, запыхавшись и теряя последние силы (как обычно бывает в момент достижения цели), уже не в состоянии была произнести ни единого звука, а только гналась за всадниками, с мольбой протягивая к ним руки, тогда как Иосиф, уцепившись за дверцу кареты, рискуя сорваться и быть раздавленным, кричал прерывающимся голосом:

– Помогите! Помогите! За нами погоня! Разбойники! Убийцы!

Одному из двух путешественников, сидевших в карете, наконец удалось разобрать эти отрывистые слова. Он подал знак форейтору, и тот остановил кучеров. Тут Консуэло выпустила уздечку другого форейтора, на которой повисла, невзирая на то, что лошадь поднялась на дыбы, а всадник грозил ей хлыстом, и присоединилась к Иосифу. Лицо ее, оживленное бегом, поразило путешественников, и они вступили в переговоры.

– Что это значит? – спросил один из них. – Новая манера выпрашивать милостыню? Вам подали, чего же вы еще хотите? Почему не отвечаете?

Консуэло, казалось, готова была испустить дух. Иосиф, задыхаясь, мог только выговорить:

– Спасите нас! Спасите! – и показал на лес и на холм, будучи не в силах прибавить ни единого слова.

– Они похожи на двух загнанных на охоте лисиц, – заметил другой путешественник, – подождем, пока к ним вернется дар речи.

И оба роскошно одетых вельможи посмотрели на них, спокойно улыбаясь, что служило резким контрастом возбужденному состоянию беглецов.

Наконец Иосифу удалось произнести еще раз: «Грабители, убийцы». Тотчас знатные путешественники приказали открыть дверцы кареты и, спустившись на подножку, стали смотреть во все стороны, удивляясь, что не видят ничего, объясняющего подобную тревогу. Разбойники попрятались, и кругом все было пустынно и безмолвно.

Тут Консуэло, придя в себя, заговорила, останавливаясь после каждой фразы, чтобы перевести дух.

– Мы бедные странствующие музыканты, – начала она. – Нас захватили незнакомые люди, которые, якобы желая помочь нам, предложили сесть к ним в карету и везли нас всю ночь. На заре мы заметили, что нас обманывают и едут на север, вместо того чтобы направ-

ляться в Вену. Мы хотели бежать, но они пригрозили нам пистолетом. Наконец они сделали привал вон в том лесу. Тут мы убежали от них и бросились навстречу вашей карете. Теперь, если вы покинете нас, мы погибли: они в двух шагах от дороги, один здесь, в кустах, остальные в лесу.

– Сколько же их? – спросил фореитор.

– Друг мой, – по-французски ответил ему тот из путешественников, к которому обратилась Консуэло, так как он стоял к ней ближе других на подножке, – знайте, что вас совершенно не касается, сколько их! Станный вопрос! Ваша обязанность – драться, когда я вам прикажу, а считать врагов я вам вовсе не поручаю.

– Вы в самом деле хотите для развлечения сделать выпад-другой? – спросил по-французски второй вельможа. – Но помните, барон, на это надо время.

– Времени надо не много, а ноги мы разомнем. Желаете присоединиться ко мне, граф?

– Пожалуй, если это вас забавляет. – И граф с величавой беспечностью взял в одну руку шпагу, а в другую два пистолета, усыпанных драгоценными камнями.

– О, вы благородно поступаете, господа! – воскликнула Консуэло, в пылу возбуждения позабыв на минуту свою скромную роль и пожимая обеими руками руку графа.

Граф, удивленный такой фамильярностью какого-то ничтожного мальчишки, с гадливой усмешкой посмотрел на свой рукав, встряхнул его и с презрением медленно перевел взгляд на Консуэло, а та не могла не улыбнуться, вспомнив, с каким пылом граф Дзустиньяни и другие знаменитые венецианцы в былые времена добивались милости поцеловать ту самую руку, чье пожатие показалось сейчас таким дерзким. Отразилась ли в эту минуту на лице Консуэло спокойная, скромная гордость, столь противоречащая ее убогому виду, или легкость, с которой она изъяснялась на языке, бывшем в немецких странах принадлежностью хорошего общества, заставила предположить в ней переодетого юного дворянина, или, наконец, инстинктивно почувствовалась прелесть ее пола, но только выражение лица графа вдруг изменилось и он улыбнулся ей уже не презрительно, а ласково. Граф был еще молод, красив, и внешность его могла бы показаться ослепительной, если бы барон не превосходил его молодостью, правильностью черт и статностью фигуры. Оба были красивейшими мужчинами своего времени, хотя, возможно, то же говорили и о многих других.

Консуэло, видя, что выразительные глаза молодого барона также с недоумением, удивлением и интересом устремлены на нее, отвлекла внимание обоих вельмож от своей особы, сказав:

– Идите, господа, или, вернее, пойдете, мы будем вашими проводниками. В кузове кареты этих бандитов, как в темнице, запряган какой-то несчастный. Он лежит, связанный по рукам и по ногам, умирающий, окровавленный, с кляпом во рту. Освободите его! Такое дело достойно ваших благородных сердец!

– Клянусь богом, это прелестный мальчик! – воскликнул барон. – Я вижу, дорогой граф, что мы не потеряли даром время, выслушав его. Быть может, мы вырвем из рук этих бандитов какого-нибудь честного дворянина.

– Вы говорите – они там? – спросил граф, указывая на лес.

– Да, – ответил Иосиф, – но они разбежались; и если вашим сиятельствам угодно будет узнать мое скромное мнение, то нам следует разделиться для нападения: надо как можно скорее подняться в карете по этому кособору и, обогнув холм, достигнуть его вершины. У самой опушки леса вы найдете карету с узником. Я же в это время проведу господ всадников напрямик. Бандитов всего трое. Они хорошо вооружены, но, когда увидят, что их обошли с двух сторон, не будут сопротивляться.

– Совет недурен, – промолвил барон. – Граф, оставайтесь в карете, и пусть с вами едет ваш слуга – я беру его лошадь. Один из мальчиков проводит вас и укажет, где остановиться.

А я увожу вот этого и своего егеря. Поспешим, а то разбойники, вероятно, настороже и могут нас опередить.

– Карета их не уйдет от вас, – заметила Консуэло, – лошадь еле жива от усталости.

Барон вскочил на коня графского слуги, а тот поместился на запятках кареты.

– Садитесь, – сказал граф Консуэло, пропуская ее вперед и сам не отдавая себе отчета в этом почтительном жесте. Однако уселся он все же на заднее сиденье, предоставив ей переднее. Кучера пустили лошадей вскачь, а граф, высунувшись из окна, не отводил глаз со своего спутника, который верхом перебрался через ручей в сопровождении слуги, во время переправы посадившего Иосифа к себе на лошадь. Консуэло далеко не была спокойна за своего бедного приятеля, рисковавшего получить первую же пулю, но горячность, с какою он взялся за это опасное дело, вызывала ее уважение и одобрение. Она видела, как он поднимается по косогору, а за ним следуют всадники, энергично прищпоривая коней. Затем все скрылись в лесу. Вдруг раздались два выстрела, потом еще один. Карета в это время огибала холм. Консуэло, не зная, чем все кончилось, стала горячо молиться. Граф, испытывавший такую же тревогу за своего благородного спутника, сердито закричал кучерам:

– Да погоняйте же, каналы! Вскачь!

LXXII

Синьор Пистолет – мы не можем называть этого человека иначе, чем окрестила его Консуэло, ибо не находим его настолько интересным, чтобы наводить о нем более подробные справки, – видел из своего убежища, как карета, при криках беглецов, остановилась. Другой неизвестный, прозванный Консуэло Молчальником, стоя на вершине холма, сделал те же наблюдения и те же выводы. Поэтому он побежал к Мейеру, и они вместе стали обсуждать, как спастись. Прежде чем барон переправился через ручей, синьор Пистолет успел забежать вперед и притаиться в чаще леса. Он дал всадникам проехать, а потом пустил им вслед две пули: одна пробила шляпу барона, а другая слегка задела лошадь слуги. Барон круто повернул коня, увидел бандита, поскакал прямо на него и одним выстрелом свалил на землю. Затем, предоставив раненому с проклятиями кататься среди колючек, сам последовал за Иосифом, подоспевшим к карете Мейера почти одновременно с графской каретой. Граф успел уже спрыгнуть на землю. Мейер и Молчальник исчезли вместе с лошадьё, не тратя времени на то, чтобы спрятать свою карету. Первым делом победителей было взломать замок у ящика, где находился узник. Консуэло с жаром помогала разрезать веревки и вынуть кляп изо рта несчастного, а тот, как только почувствовал себя свободным, бросился в ноги своим избавителям и стал благодарить Бога. Но едва он взглянул на барона, как решил, что попал из огня да в полымя.

– Ох! Да это господин барон фон Тренк^[16]! – воскликнул он. – Не губите меня, не выдавайте! Сжальтесь, сжальтесь над несчастным дезертиром, отцом семейства! Ведь я пруссак не более, чем вы сами, господин барон, ведь я, как и вы, австрийский подданный; умоляю вас, не арестовывайте меня. Ох, смилуйтесь надо мной!

– Простите его, господин барон фон Тренк! – воскликнула Консуэло, не зная ни с кем она говорит, ни о чем идет речь.

– Я тебя милую, – отвечал барон, – но с условием, что ты самой страшной клятвой поклянешься никогда не говорить, кому ты обязан жизнью и свободой.

С этими словами барон вынул из кармана носовой платок и тщательно закрыл им лицо, оставив на виду только один глаз.

– Вы ранены? – спросил граф.

– Нет, – ответил он, надвигая шляпу как можно ниже на лоб, – но попадись нам эти мнимые разбойники, мне не очень хотелось бы, чтобы меня узнали. Я и так не на слишком хорошем счету у своего милостивого монарха. Только этого мне еще не доставало!

– Понимаю, – заметил граф, – но будьте покойны: я беру все на себя.

– Это может спасти дезертира от розог и виселицы, но не спасет меня от немилости. Да все равно, почем знать, что может случиться, – надо, рискуя всем, оказывать услуги ближнему. Ну, горемыка, можешь ты держаться на ногах? Что-то не очень, как видно. Ты ранен?

– Правда, меня страшно били, но теперь я ничего не чувствую.

– Короче говоря, ты в силах удрать?

– О да, господин адъютант!

– Не называй меня так, болван! Молчи и убирайся! Да и нам, любезный граф, не мешает сделать то же самое. Мне не терпится поскорее выбраться из этого леса. Я убил вербовщика, и дойди это только до короля, мне бы не поздоровилось! Хотя в конце концов все это пустяки! – прибавил он, пожимая плечами.

– Увы! – сказала Консуэло, в то время как Иосиф протягивал свою фляжку дезертиру. – Если вы бросите его здесь, его сейчас же заберут снова. Ноги у него распухли от веревок, руками он с трудом владеет. Взгляните, как он бледен и изнурен.

– Мы не бросим его, – заявил граф, не сводивший глаз с Консуэло. – Спешься, Франц, – приказал он своему слуге и, обращаясь к дезертиру, сказал: – Садись на эту лошадь, я дарю ее

тебе. И вот еще в придачу, – прибавил он, бросая ему кошелек. – А хватит у тебя сил добраться до Австрии?

– Да, да, ваше сиятельство!

– Хочешь ехать в Вену?

– Да, ваше сиятельство!

– И снова поступить на службу?

– Да, ваше сиятельство, только не в Пруссии.

– Так отправляйся к ее величеству королеве-императрице – она всех принимает раз в неделю, – скажи ей, что граф Годиц^[17] шлет ей в подарок красавца гренадера, в совершенстве выдрессированного на прусский лад.

– Лечу, ваше сиятельство!

– Но смотри, не смей упоминать о господине бароне, а то я велю своим людям схватить тебя и отправить обратно в Пруссию.

– Да лучше мне умереть на месте! Ох! Если б негодяи не связали мне рук, я убил бы себя, когда они меня снова захватили!

– Проваливай!

– Слушаю, ваше сиятельство!

Он дочиста опорожнил фляжку, возвратил ее Иосифу, обнял его, не подозревая, что тот оказал ему гораздо более важную услугу, и бросился в ноги графу и барону, но, остановленный на полуслове нетерпеливым жестом последнего, истово перекрестился, поцеловал землю и взобрался на лошадь с помощью слуг, так как еле шевелил ногами. Однако, очутившись в седле, он сразу приободрился, почувствовал прилив сил, пришпорил коня и умчался по дороге, ведущей на юг.

– Если когда-нибудь обнаружится, что я не удержал вас от этого поступка, – сказал барон графу, – то моя песенка спета. А впрочем, все равно, – добавил он, заливаясь смехом. – Идея подарить Марии-Терезии фридриховского гренадера просто великолепна. Этот плут, который стрелял в уланов императрицы, теперь будет стрелять в кадетов прусского короля! Нечего сказать, верные солдаты! Прекрасные войска!

– Государям от этого живется не хуже, – проронил граф. – А что же нам делать с этими мальчуганами? – добавил он.

– Мы можем только повторить то, что сказали о гренадере, – ответила Консуэло. – Если вы покинете нас здесь, мы пропали!

– Мне кажется, до сих пор мы не давали вам повода сомневаться в нашей гуманности, – вымолвил граф, произносивший каждое слово с какой-то рыцарской рисовкой. – Мы доведем вас до места, где вам нечего будет опасаться. Мой слуга, оставшийся без лошади, сядет на козлы, – сказал он барону и, понизив голос, прибавил: – Разве вы не предпочитаете общество этих мальчиков обществу слуги, которого нам пришлось бы взять в карету, что гораздо больше стеснило бы нас?

– Да, конечно, – ответил барон, – артисты, как бы бедны они ни были, везде желанные гости. Кто знает, не окажется ли вот этот самый музыкантик, нашедший в кустах свою скрипку и схвативший ее с такой радостью, будущим Таргини^[18]? Ну, трубадур, – сказал он Иосифу, только что в самом деле подобравшему на поле боя свою сумку, скрипку и рукопись, – едем с нами, и на первом же привале вы нам воспоете это славное сражение, где не с кем было сражаться.

– Можете сколько угодно потешаться надо мной, – промолвил граф, когда оба удобно расположились на заднем, а мальчики – на переднем сиденье и карета быстро покатила в сторону Австрии, – ведь вы, а не я подстрелили этого негодяя.

– В том-то и дело, что я не уверен, убил я его наповал или нет, и боюсь когда-нибудь встретить его у дверей кабинета Фридриха. Охотно уступил бы вам честь этого подвига.

– А я, хоть мне не удалось даже видеть противника, искренно завидую вам, – возразил граф. – Я уже начал было входить во вкус приключения и с радостью наказал бы мерзавцев, как они того заслуживают. Подумайте только! Хватать дезертиров и набирать рекрутов в самой Баварии, верной союзнице Марии-Терезии! Неслыханная наглость!

– Вот вам готовый повод для войны, не будь мы утомлены сражениями и не живи в такое мирное время. Итак, вы очень обяжете меня, граф, если не станете разглашать это происшествие, не только из-за моего государя, который был бы крайне недоволен, узнав о моей роли в этой истории, но и ввиду поручений, данных мне к вашей императрице. Она приняла бы меня весьма недоброжелательно, явись я к ней тотчас после дерзкого поступка, совершенного моим правительством.

– Можете быть совершенно спокойны, – ответил граф, – вы знаете, что я не особенно ревностный подданный, ибо во мне нет честолюбия царедворца.

– Да какие же еще честолюбивые чувства вы могли бы питать, дорогой граф? И любовь и богатство увенчали все ваши желания. А вот я... Ах! Как различна до сих пор наша судьба, несмотря на кажущееся на первый взгляд сходство!

Говоря это, барон вынул спрятанный на груди портрет, усыпанный бриллиантами, и стал нежно глядеть на него, тяжело при этом вздыхая, что показалось несколько смешным Консуэло. Она нашла, что столь открытое проявление чувства отнюдь не является показателем хорошего тона, и в глубине души посмеялась над манерами знатного вельможи.

– Милый барон, – проговорил граф, понизив голос (Консуэло сделала вид, будто ничего не слышит, и даже искренно старалась не слушать), – умоляю вас, не достаивайте никого доверия, каким вы почтили меня, а главное – никому, кроме меня, не показывайте портрета. Вложите его обратно в футляр и не забывайте, что этот мальчик так же хорошо понимает французский язык, как и мы с вами.

– Кстати, – воскликнул барон, пряча портрет, на который Консуэло постаралась не бросить ни единого взгляда, – что, черт возьми, собирались делать с этими мальчуганами наши вербовщики? Скажите, что они вам предлагали, уговаривая ехать с собой?

– В самом деле, – сказал граф, – я как-то об этом не подумал, да и теперь не могу объяснить себе эту их выходку: зачем людям, вербующим лишь мужчин зрелого возраста и богатого сложения, понадобились двое детей?

Иосиф рассказал, что мнимый Мейер выдавал себя за музыканта и не переставая говорил о Дрездене и об ангажементе в капелле курфюрста.

– А! Теперь понимаю! – сказал барон. – Готов поручиться, что знаю этого Мейера. Это, должно быть, некий Н***, бывший капельмейстер военного оркестра, а ныне вербовщик музыкантов в прусские полки. Наши соотечественники туповаты, они играют фальшиво и не в такт; а у его величества слух потоньше, чем у его батюшки, покойного короля, и потому он вербует своих трубачей, флейтистов и горнистов в Чехии и в Венгрии. Милейший профессор трескотни и брэнчания вздумал сделать хороший подарок своему властелину – привезти ему, помимо дезертира, пойманного на вашей земле, еще двух музыкантиков со смышленными рожицами. А соблазнять вас Дрезденом и придворными прелестями было совсем неплохо придумано для начала. Но вам бы Дрездена и в глаза не видать, дети мои, и вы волей-неволей были бы зачислены до конца дней своих в оркестр какого-нибудь пехотного полка.

– Теперь я себе ясно представляю ожидавшую нас участь, – ответила Консуэло. – Я слышал рассказы об ужасах этого военного строя, об обманном и жестоком похищении рекрутов. По тому, как обошлись негодяи с несчастным гренадером, я вижу, что в рассказах этих не было преувеличений. О, великий Фридрих...

– Да будет вам известно, молодой человек, – проговорил барон с несколько иронической напыщенностью, – что его величеству неведомы средства для достижения цели, он знает только результаты их.

– Которыми и пользуется, не заботясь об остальном, – продолжала Консуэло, охваченная неудержимым негодованием. – О! Я прекрасно знаю, господин барон, короли никогда не бывают виноваты, они неповинны во всем том зле, что совершается им в угоду!

– А плутишка не так глуп! – смеясь, воскликнул граф. – Но будьте осторожны, мой милый маленький барабанщик, и не забывайте, что говорите со старшим офицером полка, куда вы должны были, по-видимому, попасть.

– Умея молчать, господин граф, я никогда не сомневаюсь в скромности других.

– Слышите, барон! Он обещает вам свое молчание, о чем вы и не помышляли просить его. Ну, право, прелестный мальчик!

– И я вполне полагаюсь на него, – проговорил барон. – Граф, – продолжал он, – вам следовало бы завербовать его и предложить в пажи ее высочеству.

– Хоть сейчас, если он согласен, – смеясь, сказал граф. – Хотите занять эту должность, гораздо более приятную, чем прусская служба? Да, дитя мое, тут не придется ни дуть в медные трубы, ни бить утреннюю зорю еще до зари, ни получать удары шпицрутенами, ни есть хлеб из толченого кирпича, а только поддерживать шлейф и носить веер красивейшей и изящнейшей дамы, жить в волшебном замке, забавляться, смеяться и выступать в концертах, не уступающих концертам великого Фридриха. Что? Вас это не соблазняет? Уж не принимаете ли вы меня за второго Мейера?

– А кто же это высочество? Кто эта блестящая и прелестная дама? – спросила, улыбаясь, Консуэло.

– Вдовствующая маркграфиня Байрейтская, принцесса Кульмбахская, а ныне моя прославленная супруга и владелица замка Росвальд в Моравии, – ответил граф Годиц.

Сотни раз слышала Консуэло рассказы канониссы Венцеславы фон Рудольштадт о генеалогии и брачных союзах княжеских и дворянских родов, а также анекдотическую хронику их, больших и малых, как в Германии, так и в соседних с нею странах. Некоторые из биографий поразили Консуэло, и среди них биография графа Годица-Росвальда, богатейшего моравского вельможи. Изгнанный и отвергнутый отцом, возмущенным его распутством, этот авантюрист был известен всем европейским дворам; в дальнейшем он стал обер-шталмейстером и любовником вдовствующей маркграфини Байрейтской, потом тайно обвенчался с ней и увез ее сначала в Вену, а затем в Моравию, где, унаследовав состояние отца, сделал свою супругу обладательницей огромного богатства. Канонисса часто возвращалась к этой истории, находя ее весьма скандальной, ибо маркграфиня была владелицей принцессой, а граф – простым дворянином; для канониссы это был лишний повод обрушиться на неравные браки и на браки по любви. Консуэло, стремившаяся понять и узнать предрассудки аристократической касты, делала свои выводы из этих разоблачений и не забывала их. Когда граф Годиц впервые назвал себя, у нее сразу возникли какие-то смутные воспоминания; теперь же перед ней ясно встали все обстоятельства жизни и романтического брака этого знаменитого авантюриста. Что до барона фон Тренка – для него тогда только начиналась его достопамятная опала, и ему не дано было предугадать свое ужасное будущее, – то о нем она прежде ничего не слыхала. Итак, она слушала рассказы графа, не без хвастовства рисовавшего картину своего недавно полученного богатства. Осмеянный и презираемый при маленьких надменных дворах Германии, Годиц не раз краснел, чувствуя, что на него смотрят как на бедняка, разбогатевшего благодаря жене. Унаследовав огромные имения и выставляя напоказ царскую роскошь своего моравского графства, он отныне считал честь свою восстановленной и любил подчеркивать свои новые преимущества, в назидание или на зависть мелким, далеко не столь богатым владельцам. Проявляя утонченное внимание и нежную заботливость по отношению к маркграфине, он, однако, не считал необходимым хранить верность женщине, бывшей намного его старше. А принцесса – потому ли, что она обладала здоровыми взглядами и тактом, свойственными ее эпохе и заставлявшими закрывать глаза на многое, или потому, что считала невозможным,

чтобы возвеличенный ею супруг мог когда-либо заметить увядание ее красоты, – не препятствовала его похождениям.

Через несколько лье доехали до подставы, где заранее было приготовлено все для приема знатных путешественников. Консуэло и Иосиф хотели сойти здесь и распротиться со своими избавителями, но те воспротивились, ссылаясь на возможность новых покушений со стороны снующих в этой местности вербовщиков.

– Вы не знаете, – сказал им Тренк (и он нисколько не преувеличивал), – до чего это ловкий и страшный народ. В какое бы место просвещенной Европы вы ни попали, если вы бедны и незащитны, но притом у вас есть физическая сила или какие-либо способности, то хитростью или насилием, а они уж попытаются захватить вас. Им известны все переходы через границу, все горные тропинки, все проселочные дороги, все подозрительные притоны, им знакомы все мошенники, на чью поддержку и помощь они могут рассчитывать в случае надобности. Они знают все языки, все наречия, так как побывали во всех странах и перепробовали все профессии. Они превосходно ездят верхом, бегают, плавают, перепрыгивают через пропасти, как заправские бандиты. Они почти все поголовно смелы, неутомимы, лживы, ловки, бесстыдны, мстительны, изворотливы и жестоки. Это подонки рода человеческого, и из таких-то подонков военные заправили покойного короля Вильгельма Толстого^[19] и набрали самых ценных пособников своего могущества, лучших столпов своей дисциплины. Они настигнут дезертира в дебрях Сибири, разыщут его под пулями вражеских войск – ради одного удовольствия доставить его обратно в Пруссию, чтобы там его повесили в назидание прочим. Они вытащили из алтаря священника, служившего обедню, только потому, что он был ростом пять футов и десять дюймов; выкрали врача у супруги великого курфюрста; десятки раз приводили в ярость старого маркграфа Байрейтского, угоняя его войско, состоявшее из двадцати – тридцати человек, причем он не смел даже открыто выразить свой протест; одного французского дворянина, ехавшего в окрестности Страсбурга на свидание с женой и детьми, они обратили в пожизненного солдата. Они хватали русских у царицы Елизаветы, улан – у маршала Саксонского^[20], пандуров^[21] – у Марии-Терезии, венгерских магнатов, польских вельмож, итальянских певцов и, наконец, женщин всех национальностей – новых сабинянок^[22], которых они насильно выдавали замуж за солдат. Они берут все, что попадется: помимо жалованья и щедро оплачиваемых путевых издержек, они получают премию с каждой головы, да нет, что я говорю – с каждого дюйма роста, с каждой десятой дюйма.

– Да, – проговорила Консуэло, – они поставляют человеческое мясо по столько-то за унцию! Ах, ваш великий король – настоящее чудовище! Но будьте покойны, господин барон, можете говорить не стесняясь: вы совершили доброе дело, освободив бедного дезертира, и я предпочел бы вынести пытки, предназначенные ему, чем вымолвить слово, могущее вам повредить.

Тренк, человек по натуре горячий, не признавал осторожности: в то время он уже был озлоблен непонятной суровостью и несправедливостью к нему Фридриха и находил горькое удовольствие, разоблачая перед графом Годицем беззакония того самого государственного строя, чьих преступлений он был свидетелем и соучастником в дни своего благоденствия, когда взгляды его не были еще столь справедливы и строги. Теперь же, тайно преследуемый, хотя по видимости облеченный доверием короля и получивший важное дипломатическое поручение к Марии-Терезии, он начинал ненавидеть своего повелителя и слишком откровенно выказывал свои чувства. Он обрисовал графу страдания, рабство и отчаяние многочисленной прусской армии, неопределимой на поле боя, но настолько опасной в мирное время, что приходилось для обуздания ее прибегать к системе беспримерного террора и жестокости. Рассказал и об эпидемии самоубийств, свирепствующей в армии, и о преступлениях, совершаемых солдатами, даже честными и набожными, с единственной целью добиться смертного приговора и избавиться таким путем от ужасов жизни, на которую их обрекли.

– Поверите ли, – говорил он, – что они особенно стремятся попасть в ряды так называемых поднадзорных. Надо вам сказать, что эти поднадзорные пополняются за счет рекрутов-иностранцев (главным образом похищенных) или за счет прусской молодежи. В начале своего военного поприща, кончающегося для них только вместе с жизнью, все они предаются безмерному отчаянию. Их выстраивают рядами и, как в мирное, так и в военное время, заставляют маршировать впереди шеренги солдат более покорных или более решительных, получивших приказ стрелять в каждого идущего перед ним при малейшей попытке к бегству или неповиновению. Если эта шеренга не выполнит приказа, то следующая за ней, составленная из людей еще более бесчувственных и более жестоких (а такие встречаются среди старых, очерствелых вояк и добровольцев, почти сплошь негодяев), обязана стрелять в обе передние; если же оплошает и третья, то – следующая за ней, и так далее. Таким образом, каждый солдат имеет во время боя врага перед собой и врага позади себя, но равных себе – товарищей или братьев по оружию – нигде. Повсюду насилие, смерть и ужас. Только таким способом, говорит великий Фридрих, создаются непобедимые солдаты. Так вот именно в первых рядах и домогается места прусский рекрут, а добившись его и потеряв всякую надежду на спасение, он бросает оружие и бежит, чтобы навлечь на себя пули своих товарищей. Этот отчаянный порыв спасает некоторых; ценою крайнего риска и невероятных опасностей им порой удается бежать, а иногда и перейти к врагу. Король прекрасно знает, с каким ужасом относятся в армии к его железному игу. И вам, быть может, известна острота, которую он сказал своему племяннику, герцогу Брауншвейгскому, присутствовавшему на одном из его больших парадов и не перестававшему восхищаться прекрасной выправкой и блестящими маневрами войск.

«Вас удивляет, – обратился к нему Фридрих, – такое сборище стольких молодчиков и их единоклющие, а меня несравненно больше удивляет нечто другое».

«Что же?» – спросил молодой герцог.

«Да то, что мы с вами находимся среди них в полной безопасности», – ответил король.

– Барон, дорогой барон! – возразил граф Годиц. – Это оборотная сторона медали. Чудес в человеческом обществе не бывает. Как мог бы Фридрих быть величайшим полководцем своего времени, если бы отличался голубиной кротостью?.. Знаете что? Не говорите больше о нем. А то, пожалуй, вы вынудите меня, естественного врага Фридриха, вступить за него против вас, его адъютанта и любимца!

– Из того, как он обращается со своими любимцами в те минуты, когда на него найдет каприз, можно судить о том, как он поступает со своими рабами. Но вы правы: не будем больше говорить о нем, а то у меня является дьявольское желание вернуться в лес и собственными руками передуть его усердных поставщиков человеческого мяса, которых я пощадил из-за глупой и трусливой осторожности.

Великодушная горячность барона пришлась по сердцу Консуэло. Она с интересом слушала его живые рассказы о прусской военной жизни и, не зная, что к смелому негодованию барона примешивается доля личной досады, видела в нем человека редкого благородства. Тренк в самом деле обладал благородной душой. Гордый молодой красавец не был рожден для низкопоклонства. Этим он резко отличался от своего случайного дорожного приятеля, надменного богача Годица. Последний, в детстве приводивший в ужас и отчаяние своих воспитателей, был в конце концов предоставлен самому себе, и хотя теперь он уже вышел из возраста буйных шалостей, все же в его манерах и разговорах оставалось что-то мальчишеское, противоречащее его исполинской фигуре и красивому лицу, немного поблекшему за сорок лет постоянных треволнений и излишеств. Поверхностные знания, которыми он подчас любил прихвастнуть, были почерпнуты им исключительно из романов, модных философских сочинений и посещения театров. Он называл себя знатоком искусства, но и в этом, как во всем остальном, ему не хватало тонкости и глубины понимания. Однако его величественный вид, изысканная любезность и веселые остроты пленили воображение юного Гайдна, и граф нра-

вился ему гораздо больше, чем барон, быть может, еще потому, что к последнему с явным интересом относилась Консуэло.

Барон, напротив, получил хорошее образование. И хотя блеск придворной жизни и кипучая молодость часто заставляли его забывать об истинной ценности человеческого величия, в глубине души он сохранил ту независимость чувств и твердость убеждений, которые даются серьезным чтением и развитием благородных задатков. Его гордая натура могла очерстветь под влиянием лести и угодничества, порождаемых властью, но не согнулась настолько, чтобы при малейшей несправедливости не проявить себя вновь запальчивостью и гневом. Красавец паж Фридриха омочил губы в кубке с ядом, но любовь – любовь безграничная, смелая, восторженная – вновь воскресила в нем отвагу и твердость. Пораженный в самое сердце, он поднял голову и бросил вызов тирану, желавшему поставить его на колени.

В то время, о котором мы повествуем, ему было на вид не больше двадцати лет. Густые темные волосы, которыми он не хотел жертвовать ради нелепых установлений Фридриха, осеняли его высокий лоб. Великолепно сложенный, с искрящимися глазами, черными как смоль усиками и белыми, как алебастр, но сильными, как у атлета, руками, он обладал голосом не менее свежим и мужественным, чем его лицо, мысли и любовные упования. Консуэло все думала об этой таинственной любви, о которой он не переставал говорить, но это чувство уже не казалось ей смешным с той минуты, как она подметила в порывах и недомолвках барона смесь прирожденной пылкости и, увы, вполне обоснованной недоверчивости, что заставляло его непрестанно бороться с самим собой и со своей участью. Консуэло, помимо воли, с любопытством спрашивала себя, кто же владычица дум юного красавца, и ловила себя на том, что самым искренним образом желает успеха двум романтическим влюбленным. День показался ей не столь длинным, как она ожидала, боясь тягостного пребывания с глазу на глаз с двумя незнакомцами из чуждого ей круга. В Венеции она узнала, а в замке Исполинов усвоила вежливое обращение, скромные манеры и изысканную речь, бывшие приятной особенностью того общества, которое в те времена принято было называть избранным. Не забывая об осторожности и не вступая в разговор, пока к ней не обратятся, она спокойно обдумывала на свободе все, о чем ей приходилось слышать. Ни барон, ни граф, по-видимому, не заметили, что она переодета. Первый не обращал никакого внимания ни на нее, ни на Иосифа: если он и бросал им несколько слов, то делал это между прочим, продолжая начатый разговор с графом; но вскоре, увлекшись, он забывал даже и о нем, беседуя, казалось, с собственными мыслями, как человек, чей ум питается внутренним огнем. Что же касается графа, он был то важен, как монарх, то резв, как французская маркиза. Он вынимал из кармана таблички из слоновой кости и что-то наносил на них с сосредоточенным видом мыслителя или дипломата; затем, напевая, перечитывал написанное, и Консуэло видела, что это французские слащаво-любовные стишки. Порой он декламировал их барону, который, не слушая, находил их чудесными. Иногда граф покровительственным тоном обращался к Консуэло, спрашивая ее с деланной скромностью:

– Как вы находите эти стихи, мой юный друг? Ведь вы понимаете по-французски, не правда ли?

Консуэло надоела притворная снисходительность Годица, по-видимому желавшего ее поразить; она не удержалась и указала ему на две-три ошибки в его четверостишии «К красоте». Мать научила ее правильной фразировке и произношению на тех иностранных языках, на которых сама пела с легкостью и даже с некоторым изяществом. Консуэло, трудолюбивая и музыкальная, а потому во всем искавшая гармонию, меру и ясность, впоследствии успела глубже изучить по книгам правила и основы различных языков. С особым старанием изучила она просодию, упражняясь в переводе лирических стихов и приравнивая иностранные слова к народным мелодиям, чтобы лучше понять ритм и ударения. Таким путем она хорошо усвоила особенности стихосложения некоторых языков, а потому ей не стоило большого труда указать моравскому поэту на его погрешности.

Восхищенный познаниями Консуэло, но будучи не в силах усомниться в своих собственных, Годиц обратился к барону, и тот оказался настолько сведущим в данном вопросе, что согласился с мнением маленького музыканта. С этой минуты граф занялся исключительно Консуэло, не подозревая, по-видимому, ни ее настоящего возраста, ни пола. Он только спросил, где *он* получил образование, что так хорошо усвоил законы Парнаса.

– В бесплатной певческой школе в Венеции, – кратко ответила Консуэло.

– Видно, в этой стране преподают лучше, чем в Германии. А где учился ваш товарищ?

– В школе при венском соборе, – ответил Иосиф.

– Дети мои, – продолжал граф, – вы оба кажетесь мне и умными и способными. На первой же остановке я проэкзаменую вас по музыке, и если оправдается то, что обещают ваши лица и ваши манеры, я приглашаю вас в свой оркестр или в театр в Росвальде. Я в самом деле хочу рекомендовать вас маркграфине. Что вы на это скажете? А? Это было бы большой удачей для таких мальчуганов, как вы.

Консуэло едва удержалась от смеха, услышав, что граф собирается экзаменовать по музыке ее и Гайдна. Она лишь почтительно поклонилась, делая невероятные усилия, чтобы оставаться серьезной. Иосиф же, чувствуя, как велики для него выгоды нового покровительства, поблагодарил и не отказался. Граф снова взялся за свои таблички и прочел Консуэло половину маленького, удивительно скверного и полного грубых ошибок либретто итальянской оперы, к которому он сам собирался написать музыку; оперу эту он хотел поставить в день именин жены на собственном театре, с собственными актерами, в собственном замке, вернее – в собственной «резиденции», ибо благодаря браку с маркграфиней он считал себя принцем и иначе не выражался.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Комментарии

1.

Святой Венцеслав (Вацлав) – чешский герцог, живший в начале X в. Стремился распространить среди язычников-чехов христианство, был убит своим братом Болеславом, стоявшим во главе языческой знати. Считался покровителем Чехии.

2.

Фукс Иоганн Йозеф (1660–1741) – австрийский композитор и теоретик музыки. Его книга «Шаг на Парнас» (1725) являлась в XVIII в. одним из основополагающих музыкально-педагогических трудов.

3.

Собор Святого Стефана – готический венский собор, построенный в XII в. Юный Гайдн, о котором идет речь в этой главе, был принят в хор мальчиков собора в 1740 г.

4.

Сейчас расскажу вам все. – Рассказ Жорж Санд о детских годах Гайдна основывается на биографии, помещенной в книге Стендаля «Письма, написанные в австрийской Вене, о знаменитом композиторе Йозефе Гайдне...» (1814).

5.

Рейтер Георг (Рейтер-сын; 1708–1772) – австрийский композитор, сочинял оперную и церковную музыку.

6.

Маттезон Иоганн (1681–1764) – немецкий композитор и дирижер, автор трудов по истории музыки.

7.

...из-за какой-то прусской косицы! – Прическа в виде косы, первоначально введенная Фридрихом-Вильгельмом I в прусской армии, была господствующей мужской прической XVIII в. Впоследствии, выйдя из моды, стала объектом для насмешек, в 1817 г. на вартбургском празднике буршей, как символ косности и политического гнета, была предана публичному сожжению.

8.

Бах Эммануил (1714–1788) – немецкий композитор, второй сын Иоганна Себастьяна Баха. Прославился своими сонатами и фортепьянными концертами.

9.

Метастазио Пьетро (наст. фамилия – Трапасси; 1698–1782) – выдающийся итальянский поэт и драматург. С 1730 г. и до конца своих дней жил в Вене, где состоял в должности придворного поэта. Его лирические драмы, сочетавшие традиции высокой трагедии и пасторальной оперы, пользовались у современников колоссальным успехом. На его тексты писали оперы свыше ста композиторов, в том числе Гендель, Глюк, Гайдн и Моцарт.

10.

«Сотворение мира» – оратория Гайдна, написанная им в 1798 г. на текст, составленный Лидли по поэме Мильтона «Потерянный рай».

11.

Эстергази – семья австро-венгерских магнатов, на службе у которых Гайдн состоял с 1761 г.

12.

Король Фридрих – Фридрих II (1712–1786), король Пруссии. Проводил агрессивную внешнюю политику, был инициатором и участником войн, возникавших в Европе в годы его царствования. Реформы Фридриха II (указ о веротерпимости, регламентация печати и др.), имевшие целью укрепление прусского абсолютизма, создали ему репутацию «просвещенного монарха». Прусские литераторы и историографы именовали Фридриха II Великим, наделяя его чертами идеального государя-философа, поборника гуманности и справедливости.

13.

Амфитрион – супруг Алкмены, матери Геракла. Имя его стало нарицательным благодаря комедии Мольера, где Амфитрион выведен гостеприимным, хлебосольным хозяином.

14.

Принцесса эта... – Никколо Порпора давал там уроки пения и композиции принцессе Саксонской, впоследствии французской дофине, матери Людовика XVI, Людовика XVIII и Карла X. (Примеч. авт.)

15.

Серпент – музыкальный духовой инструмент, представляющий собой змееобразно изогнутую коническую трубку.

16.

Тренк Фридрих фон (1726–1794) – прусский авантюрист. Был офицером-ординарцем Фридриха II. В 1745 г. по обвинению в измене был заключен в крепость Глац. Затем бежал, поступил на военную службу в России, перебрался в Австрию, в 1754 г. появился в Пруссии и был арестован; после неудачной попытки бежать был закован в кандалы и заключен в тюрьму в Магдебурге, где провел девять лет. Получив свободу, отправился в Париж и в Лондон, где выполнял тайные поручения венского двора. Во время Французской революции вновь поехал во Францию. Там он был обвинен в шпионаже и гильотинирован.

17.

Годиц Август Йозеф фон (1706–1778) – австрийский граф, любитель искусств. Парк, устроенный им в имении Росвальд, пользовался большой известностью. Растратив все свое состояние на увеселения и празднества, Годиц переехал в Потсдам, где жил на пенсию, предоставленную ему Фридрихом II.

18.

Тартини Джузеппе (1692–1770) – итальянский скрипач и композитор.

19.

Вильгельм Толстый – прусский король Фридрих-Вильгельм I (1688–1740), отец Фридриха II.

20.

Маршал Саксонский – Мориц Саксонский (1696–1750), талантливый полководец, побочный сын саксонского курфюрста Августа Сильного. В 1720 г. поступил на французскую службу,

во время войны за австрийское наследство одержал ряд блестящих побед, получив звание маршала Франции. Дочь Морица Саксонского, Аврора де Сакс, была бабушкой Жорж Санд.

21.

Пандуры – нерегулярные пехотные отряды, формировавшиеся в подвластных Габсбургам Венгрии и Хорватии для участия в войнах.

22.

...новых сабинянок... – Согласно легенде, древние римляне, желая увеличить население города, похитили девушек соседнего племени сабинов и сделали их своими женами.